Семен Резник

Кровавая карусель

Издательство «Вызов»
Вашингтон

Семен Резник. КРОВАВАЯ КАРУСЕЛЬ

Семен Резник

КРОВАВАЯ КАРУСЕЛЬ

Семен Резник

КРОВАВАЯ КАРУСЕЛЬ

Две исторические повести

Издательство «Вызов»
Вашингтон

BLOODY MERRY-GO-ROUND

NOVELS OF KISHINEVSKY POGROM

1. PAVEL KRUSHEVAN

2. VLADIMIR KOROLENKO

by Semyon Reznik

Library of Congress Catalog Card Number 87-90557

©Semyon Reznik, 1988

All rights reserved, including the right
to reproduce this book or portions thereof
in any form whatsoever.

Обложка Г. Капеляна

Challenge Publication,
Washington, D. C.

ОТ АВТОРА

Замысел книги о Кишиневском погроме возник у меня много лет назад, при изучении современного советского антисемитизма. Знакомясь с многочисленными публикациями советской печати, в которой антисемитская идеология пропагандируется под различными предлогами -- от "разоблачения сионизма" до "защиты национальных ценностей", я пришел к заключению, что истоки этой идеологии уходят в дореволюционное прошлое -- ко временам погромов и кровавых наветов. Результатом работы в этом направлении стали десяток статей, открытых писем, пародий, которые я направлял в разные советские издания (ни одно из них не было опубликовано), очерк "Дело Емельянова" (ж-л "22", № 33, 1983; газета "Новости", январь-март 1984), документальная повесть "Дело Бейлиса" (ж-л "Алеф", 1984, №№ 20-25), очерк "Синдром Кагановича" (ж-л "Слово", № 3-4) и другие произведения, в том числе исторический роман "Хаим-да-Марья" (завершен в Москве в 1979 году, издан в Вашингтоне в 1986-м).

К этому же ряду произведений относятся две повести о Кишиневском погроме, завершенных в Москве в 1981 году. Тогда же была вчерне написана третья повесть.

О том, насколько актуальны эти произведения сегодня, говорит тот факт, что лидер советского антисемитского объёдинения "Память" Дмитрий Васильев в числе своих высокочтимых предшественников, трудившихся "во имя России", называет Павла Крушевана -- вдохновителя Кишиневского погрома, а потому главного героя первой из публикуемых в этой книге двух повестей. Впрочем, антисемитизм, как и всякая нетерпимость -- расовая, национальная, религиозная, классовая -- это вечная тема литературы, так что ее актуальность не зависит от коньюнкруры момента.

Поначалу я хотел издать все три повести в одной книге, однако пока мне не удалось завершить третью повесть. Поэтому я выпускаю первые две. Будучи частями общего замысла, повести совершенно самостоятельны: в каждой из них свои герои, своя фабула и композиция. Третью повесть опубликую отдельно, как только она будет завершена.

С. Р.

УСЛУГА ЗА УСЛУГУ

(Павел Александрович КРУШЕВАН)

А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб.

Исход: 21, 23-25

ПРОЛОГ

Карьера Павла Александровича складывалась необычно.

Литераторы его поколения, как правило, начинали свой путь скромными газетными хроникерами. Тех, кому удавалось себя зарекомендовать этой незаметной работой, допускали составлять безымянные обзоры, а после того, как они набивали руку неблагодарной поденщиной, им позволяли изредка выступать с собственными (то есть подписанными их именем) статьями, фельетонами, рецензиями. Особенно удачливые или талантливые со временем становились ведущими обозревателями или публицистами, но только самые отважные из них решались в конце концов порвать с газетой и вступить на скользкий, но очень заманчивый путь свободного художника-беллетриста.

А Павел Александрович начал как беллетрист. Его рассказы, повести, романы появлялись в солидных журналах, выходили отдельными книгами. Шумного успеха не было, однако постепенно Павел Александрович приобретал репутацию даровитого сочинителя, которому есть что сказать почтенной публике. Павел Александрович считал, что достоин большого внимания со стороны читателей и критики, но, во всяком случае, его никак нельзя было причислить к тем литературным неудачникам, — озлобленным, завистливым и полуголодным, — которые носят из редакции в редакцию увесистые рукописи и всюду получают холодный и не всегда вежливый отказ. (Он, кстати, вывел этот хорошо знакомый ему тип в одной небольшой повести.)

Однако роль стороннего наблюдателя жизни не удовлетворяла Павла Александровича. Его томило какое-то беспокойство, стократ усилившееся с тех пор, как рухнула единственная в его жизни любовь. Как часто бывает в таких случаях, он пытался забыться в картах, вине, в объятиях продажных женщин. Но это длилось недолго, потому что купленная любовь в его глазах стоила слишком дешево, и всякий раз, когда наступало отрезвление, он чувствовал еще большую тоску и пустоту. Иногда ему вспоминался опыт, показанный на уроке физики в Кишиневской гимназии: к небольшому колокольчику подвели электрический ток, а затем поместили под стеклянный колпак и особым насосом стали выкачивать воздух. Звон колокольчика быстро ослабевал и скоро совсем не стал слышен, хотя язычок продолжал биться о его стенки. Павлу Александровичу представлялось, что его душа тоже находится в безвоздушном пространстве: она кричит от боли, но звука не слышно.

Он думал привыкнуть, примириться, но годы шли, а одиночество делалось все более невыносимым. Он понял, что излечиться сможет только одним путем — если, как в омут, броситься в самую гущу жизненной борьбы и из наблюдателя станет ее прямым участником. Для писателя это значило — начать издавать газету.

Вероятно, следовало сразу обосноваться в Петербурге, но он предпочел милую его опустошенному сердцу Бессарабию — хлебосольный край, где он вырос, где все хорошо знал, имел родных и друзей и мог рассчитывать на поддержку.

Его „Бессарабец" приобрел огромное влияние в губернии и даже во всем южном крае. Тираж достиг шести тысяч – случай, почти невозможный для провинциальной газеты. Сначала ощущалась нехватка денег, особенно из-за козней врагов, старавшихся погубить его детище, но Павлу Александровичу удалось приобрести достаточное число клиентов, нуждавшихся в рекламе. За счет объявлений газета стала себя окупать.

Он выпестовал надежных сотрудников и уже мог на недели и даже месяцы отлучаться из города, уверенный, что и без него дело будет вестись так, как надо. Он даже стал снова выкраивать время на беллетристику: написал несколько рассказов и начало большого романа. Однако ему уже становилось тесно в провинциальном Кишиневе.

Не выпуская из рук „Бессарабца", он переехал в столицу, где основал еще одну газету — „Знамя".

Он хорошо понимал, чем всероссийский масштаб отличается от масштаба губернии. Он понимал, что такое конкурировать с десятком упрочивших свое положение изданий. Он сознавал, каково начинать газету с таким мизерным капиталом, каким он располагал, потому что всегда был бессребреником и никаких накоплений не имел. Он знал, что не сможет привлечь маститых журналистов — и из-за непопулярности своего направления, и из-за невозможности платить высокие гонорары. И все же он пошел на этот безумный риск, потому что верил, что не деньги правят в этом мире — не должны править деньги. Энергия и самоотверженность способны сломить любые преграды, а у него имелось в избытке и то, и другое.

Все его опасения подтвердились с такой точностью, словно он внутренним взором читал в книге будущего... Кое-кто из маститых предлагал ему помощь: рады, мол, послужить русскому делу, но каков гонорар-с? Сами понимаете, Павел Александрович, если мы у вас хоть раз напечатаемся, нас ни в одну другую газету не пустят-с... С презрением отверг Павел Александрович изъявление патриотических чувств за приличное вознаграждение. Сам он безвозмездно трудился. Он и Бука, и Homo, и Vega, и, конечно, П.А. Крушеван — един во множестве лиц. Оно и не очень солидно для столичной газеты, но пока приходилось с этим мириться. До глубокой ночи сидел Павел Александрович, не разгибая спины, а потом еще с типографщиками лаялся до света, чтобы газета не опоздала к читателям.

Однако Павел Александрович не жаловался на перегрузки. Он вообще ни на что не жаловался, разве только на то, что в последнее время стало пошаливать сердце. Его сердце, на которое жизнь наложила столько зарубок, но которое оставалось нежным, трепетным и горячим, сжимали по временам в груди чьи-то враждебные пальцы, и тотчас же испарина выступала на лбу, тоска затхлого безразличия заливала душу, словно кто-то окунал ее в холодную болотную жижу. И хотелось только одного: доползти до дивана и смежить отяжелевшие веки.

„Вот так и наступит конец!" — думалось тогда Павлу Александровичу. Но мысль эта совсем не страшила и не волновала его, а если что страшило, так именно полное безразличие к собственной жизни.

„И наступит конец, и некому будет говорить правду, и погибнет Россия", — пытался одолеть безразличие Павел Александрович.

Но и гибель России тоже не волновала и не пугала.

„Что же это все значит? Как же так?" — пытался понять себя Павел Александрович, хотя понять было несложно, ибо то давала себя знать бесконечная череда бессонных ночей и тонны исписанной бумаги. Сердце сдавало, и самое главное — исчезал пыл, страсть, тот двигатель вдохновения, который наполнял смыслом всю его каторжную деятельность.

„А это даже хорошо, — думал он, — умереть не от какой-нибудь долгой чахотки, а вдруг, внезапно, словно от пули, как умирают солдаты на поле боя. Чтобы так и написали в некрологе: „Он умер как солдат!"

И ему представлялся большой газетный лист, обрамленный траурной каймой, и на нем портрет — тот самый, удачный, что он поместил в альманахе „Бессарабец", и еще одна фотография: он лежит в гробу, усыпанный цветами. И, конечно, целый ряд статей и воспоминаний — их напишут друзья, те немногие, кто верен ему и готов продолжить его дело...

Что, однако, напишут они в прощальном слове?..

Под влиянием этого мысленного вопроса Павел Александрович предавался воспоминаниям о прожитой жизни, а под впечатлением нахлынувших воспоминаний забывал о злобе сегодняшнего дня и даже о сердечной боли, уложившей его на диван. А когда возвращался к действительности, то обнаруживал, что боль давно утихла, сердце бьется ровно и спокойно, он полон энергии и снова готов к своему каторжному труду.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА

ПРОТОКОЛ. 1903 года, апреля 9 — 12 дня, и. д. Судебного Следователя по важнейшим делам округа Кишиневского Окружного Суда, при нижеподписавшихся понятых, производил осмотр города Кишинева, с целью установления количества домов, поврежденных во время уличных беспорядков, происходивших 6-8 апреля 1903 года, и степени их повреждения, причем оказалось нижеследующее:

Город Кишинев расположен на возвышенности, постепенно спускающейся к берегу высыхающей речки Быка и прилегающему по берегу названной речки полотну Юго-Западной железной дороги, и разделяется на пять полицейских частей, из которых четыре обнимают город в тесном смысле слова, а пятая вмещает в себя предместье города Кишинева, за исключением расположенного близ вокзала предместья Гуцулевки, Табалерии и Негриштии, входящих в состав четвертой части, и Скулянской Рогатки, разделенной между первой и третьей частями. Первая часть, населенная по преимуществу достаточным классом, где еврейское население составляет незначительный процент, сравнительно мало пострадала от беспорядков, которые в названной части выразились лишь в разгромлении ряда еврейских магазинов по Пушкинской улице, в части ее, находящейся против Николаевского бульвара, нескольких магазинов на Николаевской улице, между Пушкинской и Синадиновской, торговых заведений и частных квартир в Полицейском переулке, тринадцати лавок и винных погребов в верхней части Мещанской улицы (между Львовской и Подольской), нескольких отдельных бакалейных лавок на других улицах, еврейских домов и лавок на Скулянской

Рогатке и разбитых стекол в окнах некоторых домов по Александровской и другим улицам. Чуфлинская площадь и, в трех кварталах от последней, Новый Базар, где впервые возникли уличные беспорядки, пострадали более всех других. Здесь нет ни одной улицы, ни переулка, в которых все дома сохранились бы невредимыми. Особенному опустошению подверглись улицы, составляющие границы второй части с восточной и южной стороны, Николаевская и Кировская, а равно и прилегающие к ним Армянская, Свечная и Гостиная. Всюду на этих улицах разбросаны осколки мебели, зеркала, изуродованные самовары и лампы, части одежды и белья, матрацы и перины с выпущенным из них пером. Улицы, словно снегом, покрыты пером, которое носится по воздуху и садится на деревья. В третьей части, в которую входит Старый Базар, торговые улицы: Харлампиевская и нижняя часть Пушкинской и густо населенные беднейшим еврейским людом улицы: Азиатская, Синагоговская, Фаризейская и другие, особенно сильно пострадали: Минковская улица, по количеству разгромленных домов, Пушкинская, по размерам убытков, и входящая сюда часть упомянутой Скулянской Рогатки. В четвертой части наиболее разгромленные местности: Кожуховская, Остаповская и восточный конец Николаевской улицы, куда направлялось движение буйствовавшей толпы от вокзала железной дороги и с предместьями Мунгештской дороги, и Бальшевского улица, в которую шли громилы с Бендерской рогатки. Четвертая часть сплошь населена беднейшим еврейским классом, на котором погром отразился особенно чувствительно. В пятый входят предместья: Мунгештская дорога, Бачойская дорога, Молестриу, Ганчешская дорога, Скиносы, Измаильская дорога, Малая и Большая малины и др. Здесь особенно пострадавшими оказались жилые помещения на заводах Мунчештской и Бочайской дорог и дачи богатых евреев на Малой Малине. Население последнего предместья, а также Мунчештской дороги, Кавказа и Малестриу и составляет главным образом тот контингент, который 6 и 7-го апреля производил беспорядки в городе...

(Продолжение протокола — в конце следующих глав)

Глава 1

Выйдя на улицу, Павел Александрович зажмурился от яркого света, потом взглянул на часы (была половина четвертого) и, поколебавшись мгновение, решил не брать извозчика. Больно уж день был хорош, и Павлу Александровичу захотелось пройтись.

„День был не жаркий, но солнечный, ясный, из тех ясных солнечных дней, какие даже в начале лета не часто выпадают в Петербурге", — мысленно сказал, а точнее мысленно написал Павел Александрович и даже представил себе эти строчки, занесенные на бумагу его тонким почерком. Он любил подобные обороты и знал за собой маленькую слабость: нередко злоупотреблял ими.

„Это был старый помещик-аристократ, из тех старых аристократов, какие...". „Это была коротко остриженная курсистка, из тех юных курсисток, какие...". Подобные повторения включали в себя и подмеченную острым глазом художника подробность, и обобщение мыслителя, умеющего подняться над мелким фактом, и придавали всему оттенок замечания, брошенного как бы вскользь, между прочим, и вместе придавали фразе и глубинную значимость и особого рода певучесть...

Впрочем, мысль Павла Александровича не остановилась на этих соображениях. Они проплыли в голове легкой волной, словно клубы быстро тающего тумана.

Позади была почти бессонная ночь и две большие статьи, написаннные с утра, но Павел Александрович давно не ощущал во всем теле такую легкость и бодрость. Он чувствовал себя так, словно хорошо выспал-

ся, принял ванну и выпил две чашки крепкого кофе.

Улица Гоголя была, по обыкновению, пуста: только две мрачные фигуры, о чем-то разговаривавшие друг с другом впереди Павла Александровича, замедлили шаг и, чертыхаясь, стали спускаться в полуподвальную лавочку — очевидно, купить папирос.

Поравнявшись с лавочкой, Павел Александрович машинально заглянул в открытую дверь, но в полумраке не увидел ничего, кроме двух пар ног в грязных ботинках.

Небо было высокое; легкие пушистые облака плыли в шелковой голубизне. Мимо с громким цокотом пронесся экипаж, докатил до перекрестка и повернул на Невский. Глаза уже привыкли к солнцу, и их совсем не слепило. Дышалось легко и свободно.

„Какая это, однако, роскошь — вот так, не спеша, пройтись по Петербургу, и как редко я могу себе это позволить!" — подумалось вдруг Павлу Александровичу, и он по-настоящему остро пожалел себя.

В те времена, когда он еще писал беллетристику, Павел Александрович имел обыкновение „выхаживать" свои произведения. Во время ходьбы его воображение рождало более яркие картины и образы, чем за письменным столом, и он гулял по многу часов ежедневно, нисколько не ценя и даже не замечая этого счастья.

Теперь же он был почти полностью лишен того, что доступно последнему бродяге, даже вору и злодею, ибо и арестантов, говорят, положено выпускать на прогулку.

Прохладный ветерок живительной струей втекал в легкие; незлое петербургское солнце пригревало так ласково, как в Бессарабии бывает только ранней весной, и Павел Александрович был полон избыточных сил, словно не за спиной остались долгие годы изнуряющей литературной работы, а все они лежали перед ним в будущем.

Враги думали, что он сломлен и уничтожен. Они ликовали с того дня, как он объявил о скором закрытии

газеты. Рано радуетесь, господа! То была лишь минутная слабость Павла Александровича. И даже не слабость, а тонкий расчет. Деньги, проклятые деньги! Все упирается в презренный металл. Две недели назад он не смог вовремя рассчитаться с рабочими, и газета не выходила четыре дня. Казалось, что это конец, но он вывернулся. Раздобыл полторы тысячи и заплатил самые срочные долги и рассчитался с рабочими. Однако пришлось публично приносить извинение читающей публике. Признаться пришлось всему свету в денежных затруднениях. И самое главное — он опять остался без гроша.

Всякий бы дрогнул.

Вот Павел Александрович и заявил: хватит! Ныне отпущаеши раба твоего.

Конечно, не деньги он выставил главной причиной закрытия газеты. Признал себя побежденным врагами. Шесть лет лили на него грязь он привык к этому, однако с тех пор, как он начал „Знамя", травля стала невыносимой. Не было дня, чтобы в нескольких газетах не печатали оскорблений по его адресу. Всюду его преследовал этот позор, который он заслужил лишь бескорыстным стремлением работать во имя России. Каждый сказал бы, что сказал Павел Александрович: „Всякому терпению есть конец. Пускай найдутся другие охотники продолжать дело. Думаю, что большинство, особенно те, у кого есть семья, не рискнут. Я рисковал потому, что я один, и потому, пожалуй, что меньше ценю свою личную жизнь, чем свои убеждения и долг совести".

Вот так, прямо и открыто, как он всегда говорил с читателями, без хитростей и околичностей. Пусть его откровенность вызывает только насмешки. Пусть снова вопят о его мании преследования с гаденькими намеками на трусость, как это уже было, когда он сообщил об анонимных письмах, в которых ему угрожали смертью. „Не такая вы важная птица, Павел Александрович, чтобы кто-то вздумал покушаться на вашу драгоценную жизнь. Уж не сами ли вы шлете себе эти

анонимки, чтобы подогреть интерес к собственной персоне и поднять тираж вашей жалкой газетенки? Если так, то просчет допускаете. В простодушной провинции, может быть, такие штуки и проходят, да нас, столичных воробьев, на мякине не проведешь!..”

Ладно, пусть забавляются! Пусть считают его простодушным провинциалом. Тем лучше. Еще неизвестно, кто хитрее: простодушный ли Павел Крушеван, или их хитроумные мудрецы. Они не гнушаются никакими средствами. Ухватились даже за кишиневские беспорядки и выставляют его главным их вдохновителем, хотя его в то время даже не было в Кишиневе. Да, его „Бессарабец” — единственная газета в губернии, и она пользуется огромным влиянием. Она пробудила общественное самосознание в апатичном населении обширного края. Так можно ли ставить ему в вину то, чем каждый газетчик вправе гордиться?

Разве его газета могла скрывать от простого народа ту страшную угрозу, какая нависла над ним? Молчать об этом — значило бы совершить гнусную измену. У него был голос — он должен был говорить. Он видел неправду — и обязан был кричать о ней.

Им самим надлежало сделать выбор, и он прямо говорил им об этом. Увещевал, уговаривал, настаивал, требовал. Перестаньте эксплуатировать христианское население, а то терпение лопнет. Перестаньте подбивать народ на бунт, а то бунт падет на ваши же головы...

А какой выбор они сделали?

Достаточно полистать подшивку „Бессарабца”, чтобы увидеть, чем они ответили: в газете все зафиксировано. И как нападали группами на солдат гарнизона. И как потасовки устраивали, избивая мирных жителей... Говорят, факты те не подтверждались, ибо ни одно такое дело не дошло до суда. Как будто неизвестно, как умеют они подкупать полицию и заминать преступления!

А сколько горя причинили они лично Павлу Александровичу! Писали жалобы, требуя закрыть „Бес-

сарабец''... Отказывались помещать в нем объявления... Однажды даже окна побили в типографии... Павел Александрович на все это, стиснув зубы, молчал. Никогда он не призывал к насилию!

Теперь вопят, что Кишиневский погром — прямое следствие его агитации. Но Павлу Крушевану не привыкать к нападкам. Да, он писал в прошлом году: „Еврейский вопрос в Бессарабии принял острый характер и грозит евреям страшной и, увы, неизбежной трагедией''. Он так писал! Что ж, он лишь трезво оценивал обстановку и предупреждал о возможных последствиях.

Они не вняли его голосу. Они устроили в Кишиневе тайную типографию, тысячами экземпляров печатали подстрекательские прокламации от имени какого-то „Бессарабского отдела социал-демократов'', призывали к ниспровержению существующего порядка, к анархии, к борьбе против правительства. Таким вот коварством пытаются расшатать все верования, все устои, на коих веками зиждется историческая жизнь государства. Но даже и это простой народ молча терпел. Только подспудно копилось раздражение — стихийное, дикое, мрачное. И выплеснулось восстанием... Они хотели вызвать бунт — он и разразился.

... Павел Александрович свернул на Невский и очутился в потоке говорливой толпы, снующей здесь с утра до позднего вечера. Шаг его был уверенный, широкий, но неторопливый; время от времени он выкидывал вперед изящную палку с серебряным набалдашником. Было видно, что Павел Александрович не из тех праздных щеголей, которые скучают, не зная, как убить время, но он и не из тех, кто спешит на другой конец Петербурга, не имея возможности потратить двугривенный на извозчика. Каждый, кто дал бы себе труд остановить внимание на Павле Александровиче, тотчас определил бы, что этот безукоризненно одетый господин идет куда-то по важному делу, но у него есть в запасе немного времени, и он может себе позволить подышать свежим воздухом.

...Уж если на то пошло, он мог вызвать погром и год, и два года назад. При том влиянии, какое имел в губернии „Бессарабец", ему стоило лишь пальцем пошевелить. Но он был против этого, да и теперь удержал бы неразумный народ, если бы не перебрался в столицу. Ведь погромом христиане самим себе куда больше навредили.

Так отвечает Павел Александрович на обвинения. Категорически отрицает свою причастность к погрому и вроде бы вовсе не отрицает. Нравится ему это словесное фехтование! Он в глубине души даже рад обвинениям. Чует, стало быть, иудино племя его силу, если считает способным поднять целый город! Хотел он кровавой бани или не хотел, а сделанного не воротишь, так не жаться же ему испуганно в угол. Он непримиримый враг евреев, он никогда не скрывал этого. И если теперь его называют кишиневским громилой, то даже есть что-то притягательное в этой зловещей славе.

Павел Александрович бодро шагает вдоль выстроенных по ранжиру зданий. Под ярким солнцем нарядные витрины отливают всеми цветами радуги. В одной из них выставлены модные ткани, доставленные из Франции, в другой – тонкий китайский фарфор, в третьей — вина, балыки, колбасы... Хлопают двери бесчисленных магазинов, погребков, кофеен, ресторанов. Экипажи беспрерывной чередой мчатся по проспекту, тащат рядом с собой густые неровные тени.

Три размалеванные женщины фланируют недалеко друг от друга. Они резко выделяются в толпе. Помахивая веерами, они обстреливают прохожих нескромными взглядами. Две из них белокуры и голубоглазы, может быть, сестры; третья — жгучая брюнетка, смуглая, с резкими чертами лица и двумя огромными кольцевидными серьгами. На ней пестрое платье, бусы в несколько рядов. Манерами, да и всем видом она хочет походить на цыганку, но Павел Александрович в миг признает черты израилева племени.

Женщина заметила, что на нее обратили внимание.

Приветливой улыбкой одаривает она Павла Александровича, подается к нему гибким телом, но он брезгливо отстраняет ее рукой. Уж нет ли здесь какого-нибудь гешефта?.. Проституцией еврейкам разрешено заниматься по всей империи, так они иногда пользуются со свойственным им пронырством. Недавно еще писали в газетах: задумала одна шустрая учиться стенографии и приехала в Петербург, не имея законного права жительства. Ее выслали, да она снова приехала. Ее опять выслали. Тогда она выправила себе желтый билет, живет в Петербурге, учится стенографии. Однако дворник пригляделся — клиенты к ней вовсе не ходят! Дал знать полиции, к ней с обыском нагрянули, в больницу забрали, обследовали, и оказалось сия проститутка девицей! Вот на какие обманы способно развратное племя...

Павел Александрович минует проституток, а его обгоняют мужчины и женщины, одетые просто, с несмываемой печатью озабоченности на лицах. Такие же идут навстречу: их на Невском большинство.

Павел Александрович приглядывается к ним, и в груди его поднимается теплая волна сочувствия, жалости, горячей любви к этим простым людям, вечно занятым добыванием насущного хлеба. Хоть бы вот этот худощавый господин, уже немолодой, бедно, но очень аккуратно одетый, с темными припухлостями под глазами.

„Можно биться об заклад, — думает Павел Александрович, — что он мелкий служащий с мизерным жалованием. У него на руках семья. Трое, а то и четверо детей, и всех надо кормить, одевать, пристроить в гимназию... А у него, может быть, еще есть и старуха-мать, которую надобно содержать... А жена, замученная нуждой, злая, ворчливая жена, может быть, даже в чахотке... Почти непременно в чахотке!.. Вот и мается он в поисках случайного заработка... Между прочим, неплохой сюжет для небольшого рассказа!..”

Павел Александрович глубоко вздохнул. Неплохой

сюжетец, очень неплохой, но ему теперь не до рассказов. Было время — у него не хуже, чем у иных именитых беллетристов получалось. Оставить пришлось все это до лучшей поры. Пускай господа чеховы, горькие, короленки занимают публику художествами. Им ведь все равно, какому Богу молиться, им бы только слава, успех, да чтобы денег побольше платили! И еще порядки российские бы осрамить путем какого-нибудь скандала, а себя еще больше возвеличить. Выбрали их в почетные академики, да им такого почета мало. Горького, воспевающего босяков, государь в академиках, конечно, не утвердил, так Короленко и Чехов тотчас в отставку. Не хуже евреев друг за дружку держатся!

Ну, что ж, господа отставные академики, угощайте почтенную публику изящной словесностью. А Павел Крушеван другим занят! Ему не то важно, чтобы поведать публике, как мелкий служащий из сил выбивается, добывая копейку для несчастного своего семейства; ему важно служащему этому объяснить: оттого ты, братец, бедствуешь, что кроме собственного семейства на шее твоей сидят десять миллионов кровопийц, лютых врагов тебя самого, твоей христианской веры и твоего родного отечества! А беллетристика — потом. Когда-нибудь. Если останутся силы. Потомство рассудит Павла Александровича с чеховыми и короленками. Русский народ скажет свое слово! Русский народ всем воздаст по заслугам — и тем, кто в трудную для отечества годину дарованный Богом талант продавал за еврейские деньги, и тому, кто неменьший, может быть, художественный талант в землю зарыл, да личной жизнью пожертвовал, и весь, без остатка, ринулся в беспощадную драку — за простого русского человека, за незыблемость веками освященных российских традиций, за установленный от Бога порядок вещей!

„Хороший денек, — думает Павел Александрович. — Хорошо дышится, хорошо думается. Величав и красив Невский проспект с его постоянной сутолокой среди

застывших, как на параде, зданий... Когда еще придется так вот пройтись по улице? Опять затянет газетная тина, сиди, строчи по листу печатному ежедневно... А какой-то Дзинев еще недоволен, что я поздно материалы приношу!..»

В душе Павла Александровича всколыхнулась жгучая обида, когда сами собой сжимаются кулаки. От кого-кого, а от рабочих он такого предательства не ожидал. Ведь, как отец родной, к ним относился. Когда нанял, банкет устроил по случаю Нового года и нового своего начинания. Очень понравилось это рабочим. Метранпаж Дзинев даже адрес от их имени поднес — в нем прямо сказано о полной поддержке не за страх, а за совесть. А с какой преданностью смотрел Дзинев в рот Павлу Александровичу, как восхищался его статьями! Так, мол, их, не отдадим на поругание Святую русскую землю!

Оно, конечно, не метранпажа дело — одобрять или не одобрять направление газеты. Его дело — проворнее верстать полосы, а верстал флегматичный Дзинев так, словно спал у станка, на что и указывал ему Павел Александрович. Порой, чего греха таить, указывал с раздражением. Да все ж приятно было слышать бесхитростное изъявление чувств простого русского человека. И вдруг — отказался работать из-за двухдневной задержки жалования, да всех остальных на это подбил. Ну, Павел Александрович вывернулся, заплатил, работу они возобновили. Но после того случая — как подменили их. Не прикрикни, не выбрани в сердцах, не пригрози... Дзинев уволился и в суд обратился. Тут, конечно, не обошлось без коварных наущений. Павел Александрович двести рублей предложил Дзиневу отступного, а он — ни в какую. Сразу ясно: евреи больше ему посулили.

Нехороший привкус у этой истории. Чего-то грязного и мелкого. Ведь Павел Александрович за рабочий народ стеною стоит. Он всегда заодно с народом, о народе болит у него душа.

Как отшумел злосчастный погром — все кругом за головы схватились: ах, бедное многострадальное еврейское племя!.. О своих вовсе позабыли. Павел Александрович и напомнил! Громили-то евреев, в основном, бедняки, и теперь из-за этого страдают. Конечно, грабить и убивать нехорошо, хотя бы даже и евреев. Преступники арестованы, их будут судить. Но семьи-то их в чем виноваты? А ведь многие остались совсем без кормильцев; их положение куда более бедственное, чем разгромленных евреев, которым со всех концов земли их собратья шлют щедрую помощь. Вот и христианам так надобно!

Немалое мужество требовалось, чтобы выступить с таким призывом. Ну, Павлу Александровичу не занимать мужества. Он стоит за сплоченность всех русских людей. Только единение всех сословий народа может спасти Россию — это он не перестает повторять. И вдруг выплыло, что он сам конфликтует с рабочими, так что дело дошло до суда!.. Нехороший привкус.

И ведь какого адвоката наняли евреи Дзиневу!

Едва началось слушание, и судья, как водится, предложил сторонам примирение, адвокат этот и говорит:

— Мой доверитель согласен, но при условии, если господин Крушеван внесет двести рублей (двести! Это намек на сумму, что он наедине предлагал Дзиневу) в пользу пострадавших от погрома кишиневских евреев.

Будь сам Павел Александрович при этом, зааплодировал бы такому противнику. И ответил бы соответственно. Согласен, мол, внести и две тысячи, если еврейские покровители Дзинева внесут столько же в пользу семей погромщиков!

Но — не ходить же самому Павлу Александровичу к мировому по всякому пустяку. А поверенный его Плахов и пробурчал:

— Не согласен.

Точно дело не в принципе, а действительно в двух сотнях рублей!

А как пошел допрос свидетелей, Плахов и вовсе сплоховал.

— Дзинев верстал, а Крушеван грозил размозжить ему голову...

— А когда Дзинев пришел за расчетом, Крушеван грозился его убить!..

— Он часто рассчитывался с рабочими с револьвером в руке...

— Крушеван ругал Дзинева нецензурной бранью. Опаздывает газета, вот он и ругается. Слова выбирал внушительные!

— А метранпаж виноват не был. Виноват сам Крушеван. Дает рукописи в три часа утра и хочет, чтобы в пять уже развозили газету.

— Крушеван грозил Дзинева застрелить. „Как я могу служить, если мне грозят револьвером?" — это Дзинев не раз повторял.

— Я и сам боюсь Крушевана. Войдешь в кабинет, и просто жутко становится. Большой такой револьвер лежит на столе...

И на все это Плахов не нашел что возразить. С трудом сумел отложить дело.

... Пока другие газеты не подхватили, Павлу Александровичу пришлось самому обнародовать всю историю, придав ей, конечно, иронический оттенок: все, мол, неправда, Дзинев и свидетели куплены на жидовские деньги.

...Еще два квартала, и Полицейский мост. А за ним еще через квартал — Цензурный комитет. „Может быть, дальше пройтись, а в Комитет — на обратном пути? — думает Павел Александрович. — Отчего не продлить прогулку на десять-пятнадцать минут?.. Семь бед — один ответ".

Зачем, однако, пригласила его эта хитрая лиса Адикаевский? Опять какая-нибудь пакость, как с Сионски-

ми мудрецами, коих он так решительно зарубил. Как будто опасность для трона и общественного порядка — разоблачить злодейский заговор против христианского мира! Ничего, борьба еще не окончена... Другие люди будут решать! На другом уровне. Павел Александрович не допустит, чтобы какой-то крещеный еврейчик распоряжался в его газете.

„Сионские мудрецы" — это новая бомба, которую готовит Павел Александрович. Удалось бы только взорвать! „Протоколы заседаний франмасонов и сионских мудрецов" — таково полное название документа. „Протóколы..." Это звучит солидно.

Одну службу они уже сослужили: спасли газету, когда она висела на волоске. Взял тогда Павел Александрович пухлую рукопись и поехал в Эртелев переулок, хотя именно там ему позарез не хотелось появляться. Сложные отношения связывали его с „Новым временем". Вроде бы всегда они вместе, всегда заодно выступают. „Новое время" никогда не бранило ни „Бессарабца", ни „Знамени", похваливало даже. Однако в похвалах чувствовался сдержанно-снисходительный тон, и это высокомерие за живое задевало Павла Александровича. Не выдержал он разок, съязвил еще в прошлом году, в „Бессарабце": „Господин Суворин за деньги готов пятки чесать евреям". Зря, конечно! Не так много у него союзников, чтобы ссориться с ними. Суворин, правда, смолчал. Но этим еще большее высокомерие обнаружил по отношению к Павлу Александровичу: стоит ли реагировать на тявканье какой-то провинциальной моськи? А теперь Павел Крушеван шел на поклон к хитроумному старцу.

„Только не к нему лично!" — решил Павел Александрович.

Войдя в редакцию „Нового времени", он спросил Михаила Осиповича Меньшикова, благо знал его еще с той поры, когда незрелые опыты печатал в „Неделе", где Меньшиков был ведущим публицистом и делал журналу тираж.

— Рад приветствовать старинного друга, — весело воскликнул Меньшиков, моргнув маленькими глазками на широком лунообразном лице.

— Я тоже. Очень рад.

Павел Александрович сдержанно пожал протянутую руку и положил на стол пухлую рукопись.

— Готов уступить ради общего дела. Об условиях договоримся, когда прочитаете. Завтра приду за ответом. Засим, имею честь.

И откланялся, ни словом не напомнив о „добром старом времени".

Пусть Меньшиков не думает, что он хочет расположить его в свою пользу, трогая сентиментальные струны. Он пришел с деловым предложением. Опытный газетчик должен ухватиться за такой острый материал. Не надо привносить сюда посторонних соображений, а то еще будет считать, что облагодетельствовал Крушевана.

На другой день Павел Александрович сразу увидел, что проиграл. По преувеличенной сердечности, с какой приветствовал его Меньшиков, по той предупредительности, с какой усаживал в кресло, по тому, что начал разговор с „доброго старого времени".

— Нет, нет и нет! Мы этого не поместим, — решительно сказал Михаил Осипович, когда они, наконец, приступили к делу.

— Но отчего? — вспыхнул Павел Александрович. — Ведь это же бомба! Или вы с Суворинym тоже боитесь евреев, и я был прав, когда выругал вас в „Бессарабце"?

— Какой вы, однако, горячий! — Меньшиков хохотнул в мягкие усики, и его маленькие, лишенные ресниц глазки замаслились и повеселели. — Впрочем, вы всегда были таким, южная кровь, я понимаю... Поймите же и вы, голубчик: мысль хороша, но топорно сработано. Словно по нашему с вами заказу.

— Как прикажете вас понимать, милостивый государь! — Павел Александрович вскочил с кресла. — Уж не хотите ли вы сказать, что я сам составил эти протоколы?

— Ну, ну, не задирайтесь и сядьте. А то разговора у нас не получится, — спокойно сказал Меньшиков. — Здесь все ясно изложено. Я бы сказал, слишком ясно, — он прихлопнул маленькой рукой лежавшую перед ним рукопись. — Евреи хотят подчинить мир своему невидимому правительству. Они презирают христиан, как низших существ, даже не считают их людьми и обращаются с ними как со скотом. Эксплуатировать, обирать, обкрадывать христиан по их религии вовсе не грех, а высоконравственный подвиг, угодный иудейскому Богу. Подкупами и обманом они заманивают в масонские ложи самых умных, талантливых, образованных христиан, которые даже не догадываются, что масонство служит евреям. Они кричат о свободе, демократии, равенстве, братстве, правах человека и прочих утопиях, но все это только приманка, чтобы вызвать смуту, анархию, а затем подчинить себе весь мир. Они вносят раздоры в наши ряды и губят нас нашими же руками... Таков ведь смысл этих протоколов, я правильно понял?

— Правильно, — подтвердил Павел Александрович и сухо добавил. — Меня удивляет то спокойствие, с каким вы говорите об ужасном заговоре, в котором они сами впервые здесь признаются.

— В том-то вся штука, что сами! — воскликнул Меньшиков. — Все эти козни мы с вами давно разоблачили без всяких их протоколов! Мы говорим, что евреи коварны, скрытны и дьявольски умны, поэтому им и удается морочить христианский мир. А тут выходит, что мудрейшие сионские мудрецы — дураки набитые: не мы их зловещие замыслы разгадываем, а они свои тайные планы составляют по нашим подсказкам. Словно ничего сверх этого и придумать не могут! А как выражаются неосторожно! — Меньшиков водрузил на маленький носик большие очки, и стал листать рукопись. — Вот! — он прочитал: „Гои идут в масонские ложи из любопытства или в надежде пробраться к общественному пирогу, а некоторые лишь для того, чтобы

высказать перед публикой, хотя бы в небольшом сборище, свои мечтания: эти последние ищут рукоплесканий, на которые мы все щедры, потому что для нас полезно приучить их к эмоции успеха". — Он снял очки и прищурившись посмотрел на Павла Александровича. — Судя по названию протоколов, заседание совместное, франмасоны в нем тоже участвуют. Как же можно им в лицо высказываться так откровенно? Напротив, умные иудеи должны хитрить и льстить. У вас же тут и хлеще написано... Вот! — Он опять водрузил на маленький носик очки: „Мы их ныне уже казним за непослушание, да еще так, что только братия может заподозрить экзекуцию, да пожалуй они сами; для публики они умирают вполне естественной смертью. Умирают эти лица, когда нужно. Братья не смеют протестовать, таким образом, мы вырвали из среды масонов семена протеста". — А о будущем?.. Где тут это место?.. Да, ладно, вы помните. Там говорится, что в будущем, когда евреи захватят власть над всем миром, они всех масонов, которые им в этом помогут, в тюрьмах и ссылках сгноят! Что они так и поступят, мы с вами не сомневаемся. Но возможно ли допустить, чтобы они сами же перед масонами раскрывали такие злодейские планы?.. А ваше вступление! Вы пишите, что протоколы обнаружены во Франции, но где находится подлинник, не сообщаете. Кто снял копию, вам неизвестно. Даже имя переводчика вы не указываете... „Новое время" — газета солидная; позволять себе такое мы не можем.

Меньшиков помолчал немного, поколебался, затем, понизив голос, продолжил совсем доверительно:

— Учтите и то, что студенческая история еще не забыта. Вы, конечно, знаете: за искаженное будто бы освещение тех событий Суворина в Союзе писателей подвергли суду чести. Очень Короленко старался, и в результате — общественное порицание... Случись подобное со мной или с вами, мы бы только посмеялись над этим еврейским порицанием. А Алексей Сергеевич страдает. Все же старого закала человек. Нет, он ни за что

не согласится... И потом, я не возьму в толк, зачем вы принесли это нам. У вас своя газета, так и печатайте на здоровье!

— В отличие от многих других, — с вызовом ответил Павел Александрович, — интересы отечества для меня дороже личных. Что такое мое „Знамя"? Пока еще это едва вылупившийся из яйца птенец. Правда, очень задиристый, но кое на кого это производит даже комическое впечатление. Насколько весомее прозвучат эти „Протоколы", если они появятся не у меня, а у вас!.. Вас читают многие тысячи и в столице, и в провинции. Даже несогласные с вашим направлением охотнее других газет выписывают „Новое время", сам объем позволяет вам публиковать всю текущую информацию. Словом, „Новое время" — крупнейшая газета России. Этим все сказано.

— Но именно поэтому, милейший Павел Александрович, мы не можем себе позволить то, что позволяете вы. — Меньшиков произнес последнюю фразу мягко, но с оттенком назидания, точно прописную истину втолковывал школьнику.

Наступила пауза. Тема разговора была исчерпана, но что-то удерживало Павла Александровича в удобном кожаном кресле. На круглом ухмыляющемся лице Меньшикова читалось, что он ни на минуту не поверил в то, что Крушевана привели к нему только „патриотические" соображения. Обычно, в таких случаях Павел Александрович взрывался. Он слишком горд, чтобы позволить кому-либо сомневаться в своей искренности. Однако в тот момент ему почему-то подумалось: „И что это меня понесло ломаться и выставлять интересы отечества... Высокопарно и глупо". И вдруг, неожиданно для себя, он сказал:

— Что ж, я буду до конца откровенен. Конечно, я никому не уступил бы чести обнародовать эти протоколы, если бы не чрезвычайные обстоятельства. Мне срочно нужны три тысячи. Если в течение недели я не уплачу по векселям, мне придется продать газету. Не только

эти протоколы, а вообще ничего не напечатаю. Подумайте, в ваших ли это интересах. Самые беспощадные нападки еврействующей прессы теперь сыплются на меня, так что я для вас вроде громоотвода. А что такое три тысячи — не в качестве гонорара, конечно, а в долг! Материалу этому цены нет, хотя бы и были в нем те недостатки, о коих вы говорите. Я готов уступить вам его бесплатно: просто чтобы скрепить сделку. Десять дней будете печатать из номера в номер, десять лет потом будут о нем говорить, и через сто лет не забудут, потому что сколько бы ни кричали о его подложности, всегда найдутся люди, готовые верить в подлинность таких документов. Я расстаюсь с этим материалом только потому, что попал в отчаянное положение.

— Рукопись вы заберите, будем считать этот вопрос решенным, — поправляя очки, сказал Меньшиков. — А о деньгах... надо подумать. Три тысячи — сумма немалая, но при наших оборотах... Я поговорю с Сувориным. Полагаю, он не откажет. Надо же нам проявлять солидарность против еврейской сплоченности, — в лице Меньшикова вновь появилась хитроватая усмешка...

„Знамя" было спасено, и протоколы остались у Павла Александровича. Тем лучше! Он бы уже начал печатать, если бы не твердое „нет" Адикаевского. Проклятый еврей! Пакостит „Знамени" как только может. Но ничего, у Павла Александровича есть и другие каналы. „Протоколы" теперь у самого фон Плеве. Обещал выкроить время, ознакомиться, а потом и аудиенцией удостоить. Как-то повернется разговор на аудиенции?..

Мысленно Павел Александрович не раз уже „проигрывал" предстоящую беседу со словоохотливым российским диктатором, но теперь снова вернулся к ней, так сильно она его занимала.

— Прочел, господин Крушеван, прочел с большим интересом, — скажет фон Плеве. — И с пользой для себя. Большое вам за это спасибо.

— Мне бы хотелось, ваше высокопревосходительство, чтобы и вся читающая Россия могла извлечь поль-

зу из этого документа. Народ должен знать, какую погибель готовят ему сионские мудрецы и продавшиеся им масоны.

— Это ваше желание я понимаю, господин Крушеван, и больше того, вполне разделяю, — скажет фон Плеве. — Пришли бы вы с этим два-три месяца назад!.. Но теперь, после кишиневских событий... Не думаю, что это будет полезно, особенно в вашей газете, и с моего личного разрешения. Ведь не удастся же нам удержать в тайне, что цензурное разрешение получено не обычным путем, а исходит от меня лично!.. Если хитроумные сионские мудрецы не сумели уберечь свои секретные протоколы, — хмыкнет фон Плеве, — то где уж нам с вами, а? — и он подмигнет большим умным глазом. — Ведь мы с вами и без того, вроде, как молочные братья. Вас объявили главным вдохновителем погрома, а меня — главным организатором. Вы знаете, какой вой подняли в заграничной печати! Даже секретную телеграмму опубликовали, будто бы мною посланную кишиневскому губернатору. Я будто бы заранее предупредил его о предстоящих беспорядках, да не пресечь потребовал, а напротив...

— Но правительство опровергло эти еврейские инсинуации против вашего высокопревосходительства! — скажет Павел Александрович.

— Правительство-то опровергло... Да ведь кто верит правительству? Все знают, что официальные заявления лгут. Их, скажу вам, и составлять приходится с расчетом, что их будут считать ложными. А что прикажете делать? Произошла, допустим, какая-то стычка на восточной границе — потери шестьсот человек. Как прикажете оповестить о том публику? Напечатай мы правду, так начнется паника, будут думать, что там полегла вся русская армия, и враг уже подходит к столице. Мы печатаем в „Правительственном вестнике": в стычке ранено шесть казаков. Публика читает и тотчас догадывается: не шесть, а шестьсот, и не ранено, а убито. Цель, таким образом, достигнута: общество знает прав-

ду. Однако публика уверена, что мы намеренно вводим ее в заблуждение... Что же она должна думать об официальном опровержении? Пришлось сделать большее — уволить в отставку губернатора. Однако этим мы как бы подтвердили, что в погроме повинна власть, пусть только местная. Государю очень этого не хотелось, но не было иного выхода. Однако бездействие местной власти все равно толкуют в том смысле, что губернатор имел указание. Вы же знаете, как у нас любят страдальцев. Фон Раабен уже попал в герои: он-де стрелочник, которого я принес в жертву вместо себя. Кровью кишиневских евреев мы с вами вместе замараны, и нам уж от нее не отмыться. Побратала нас эта кровь, так что вернее будет сказать, что мы с вами не молочные братья, а кровные, — и фон Плеве зальется мелким дребезжащим смешком. — И вы, выходит, ко мне, как к брату, с этими протоколами обратились.

— Но неужели же, ваше высокопревосходительство, честный русский писатель не может высказать то, что думает о врагах отечества и человеческого рода! — скажет Павел Александрович. — В конце концов, это просто странно, если не сказать больше: крещенный еврей Адикаевский защищает интересы России от русского патриота Крушевана!

Да, да, Павел Александрович непременно ввернет в разговоре что-нибудь в этом роде. Как-то отреагирует Плеве? Наверно, посмотрит удивленно и опять рассмеется.

— Ну, какой, скажите на милость, Адикаевский еврей! Это старый служака, имеющий заслуги. Грешит излишним формализмом, слишком буквально толкует законы о печати — с этим я, пожалуй, согласен. Но зачем же его так сразу записывать в евреи? Эдак вы и меня евреем объявите, если чем-нибудь придусь не по нраву. Нет, господин Крушеван, цензурным требованиям вы должны подчиняться. Или вы тоже добиваетесь свободы печати?

— Почему „тоже", ваше высокопревосходительст-

во? — вспыхнет Павел Александрович.

— А потому, что вспомнился мне такой же вот разговор с господином Михайловским. Он точно так же, как вы, в этом кресле сидел и делал невинные глаза: какая крамола может исходить от литературы, если за нею цензура смотрит? Вы бы, говорит, посмотрели корректуры, искореженные цензором Адикаевским... Да, кстати, имейте в виду: именно Адикаевским, которого вы объявляете евреем. Им больше всего недовольны господа прогрессисты и оппозиционеры... Понимаете, какая дерзость! Я ему внушение делаю, что их журнал сеет смуту в обход цензурных требований, а он в ответ заявляет, что надо вообще отменить контроль над печатью. Вы, выходит, того же мнения?

— Нет, ваше высокопревосходительство, — не примет шутливого тона Павел Александрович. — Я не против цензуры, только надо, чтобы цензура оберегала Россию от ее недругов, а не наоборот. „Русское богатство" Михайловский и Короленко превратили в богатство еврейское, журнал их давно пора закрыть, но цензура с ним нянчится, а патриотическим изданиям чинит препятствия. Враги трона и России, какие-нибудь михайловские и короленки, и защитник русского народа Крушеван одинаково ущемлены цензурой!

Павел Александрович попытался представить себе, какое впечатление отразится при этих его словах на полном, немного одутловатом лице Плеве. С министром надо говорить именно так: уважительно, но без подобострастия, твердо и смело, как с равным, как союзник с союзником...

Что, однако, ответит всесильный Плеве на выпад против цензуры?

— По-моему, вы несколько прямолинейны, господин Крушеван. На что я сторонник твердой линии, да и то — маневрирую. Учитесь у ваших врагов разнообразию тактических приемов. Цензурный комитет один, да в нем кабинетов много. На Адикаевском свет клином ведь не сошелся. В политике не всегда нужно идти напролом.

— Но я не политик, ваше высокопревосходительство, — возразит Павел Александрович. — Я всего лишь честный литератор, не боящийся говорить правду...

Воображаемый разговор подошел к кульминации... Собственноручного разрешения через голову цензурного комитета осторожный Плеве, пожалуй, не даст. На это Павел Александрович и не рассчитывал. С него было бы достаточно, если бы Плеве пообещал неофициально содействовать...

Павел Александрович не успел „проиграть" разговор до конца, как чьи-то руки вдруг обхватили его сзади и сильно сдавили шею.

„Что за дурацкие шутки", — с раздражением подумал Павел Александрович и попытался повернуть голову, чтобы посмотреть, кто это позволяет себе такую фамильярность. Однако прежде, чем успел оглянуться, он услышал несильный треск у своего правого уха, словно кто-то порвал плотную парусину; и в тот же миг Павел Александрович ощутил, как что-то холодное и острое коснулось шеи немного ниже уха. Он не почувствовал боли, но с несомненностью понял, что его сзади ударили ножом.

„А ведь меня убивают!" — подумал Павел Александрович.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА

ПРОТОКОЛ. (Продолжение)... *При осмотре Нового Базара наблюдаются следующие повреждения, учиненные вечером 6-го апреля и около 2-х часов дня 7-го апреля, причем в первый день беспорядков толпа большей частью ограничивалась лишь разбитием стекол в еврейских домах и витрин, опрокидыванием киосков для продажи табаку, фруктов, минеральных вод и проч., а на второй день перешла к разгрому домов и насилию над личностью. Опрокинуты 9 лавочек-рундуков для продажи хлеба, 44 лавки для продажи мелких железных изделий и посуды, раз-*

биты и разграблены более 60 лавок галантерейных, бакалейных, посудных. Всюду разбросаны куски изорванных материй, ситцев, изломанные зонты, черепки битой посуды, лампы и т.д.

Из более крупных магазинов разбиты: бакалейный Зельцера, оптово-бакалейный Учителя и посудный Киселевича. Здесь же находится галантерейный магазин Лейзера Лопушнера, который громилы, после разграбления его, пытались поджечь; окна и двери этого магазина выломаны, стены закопчены дымом. Около одного из магазинов готовой обуви разбросаны пар восемь старых ботинок и сапог, оставленных громилами взамен взятой ими новой обуви. Лавки, принадлежащие неевреям уцелели; не разрушен и так называемый „фруктовый" ряд. Густонаселенная евреями Армянская улица, где погром начался 7-го апреля в 11-12 дня, сильно пострадала. Погрому и разграблению здесь подверглись 15 домов, а в 35 домах выбиты стекла в окнах; особенно разгромлены дома: Томмазского, Алтера Неермана, пекаря Фейгеля и мастерская портного Кобрина. Совершенно разбиты и разграблены небольшие бакалейные лавки, аптекарский магазин и погреб Фельдштейна. Вся улица возле последнего магазина сплошь усеяна осколками бутылок; много бутылок от шампанского и ликеров. Окна и двери этого магазина совершенно разбиты и вырваны. Разбиты и разграблены мастерские портных: дамского — Шустера и военного — Бродского. Особое внимание обращает на себя большой двухэтажный дом б. Этензона на углу Львовской улицы, где громилы хозяйничали в продолжении нескольких часов, ломая внутри и выбрасывая со второго этажа все, что можно выбросить в окно: зеркала, кресла, столы и т.д. На улице, около дома — груды поломанной мебели и пуха, внутри — полнейшее опустошение. По Кировской улице разбиты 13 домов и выбиты окна в 8-ми домах. При разгроме дома Обельмана (№52) были убиты Одко Крупник и сын его Меер Крупник. По Свечной улице разгромлено 17 домов, и в 2 домах выбиты стекла. Особенно пострадали дома Зильбермана, Вайнберга, Рабиновича и Вайсермана, в доме Паскаря (№20) убиты Герш Болгар и Герш Лыс. По Измаильской улице разгромлены 25 домов, и в 9-ти домах выбиты окна. Внимание останавливается на разоренной винной лавке в доме № 16, где не только совершенно разрушена вся обстановка, довольно убогая, но и печь разобрана до основания. В погребе разбиты бочки вина; оно еще не успело впитаться в землю и стоит лужами. Возле дома, на деревьях висят клочки одежды. Рядом сильно разгром-

лен большой дом Мелеля, во дворе разрушен флигель, где убит Ицко Вайнштейн. На стене узкого коридора, ведущего со двора во флигель, видны большие кровавые пятна и отпечатки залитых кровью рук. Очень разбиты дома Малявского, Квасмана, Шнейдера, большой двухэтажный дом Иося Ройтмана; возле последнего дома и внутри его разбросаны обломки богатой и изящной мебели. В доме Вайнштейна (№ 48), кроме вдребезги разбитой мебели опрокинут и разломан рояль; отбиты ножки, разбиты на мелкие части дека и крышка, струны порваны, не уцелело ни одного клавиша.

По Килийской улице разгромлены 34 дома, и в 8 домах разбиты окна. В доме Шварцмана поломана изящная резная мебель, остатки которой разбросаны по улице. Разбита Гуцельская баня. В доме Лейбы Оберштейна совершенно разгромлены 16 еврейских квартир. В лавке Шлемы Целика не уцелели даже массивные железные шторы, закрывающие дверь и окна. В доме Абрама Шварцмана (№ 56) убит Шмуль Урман. По Бендеровской улице насчитывается 11 разбитых и разграбленных домов и в 11 домах побиты стекла. Здесь погром начался 7-го апреля около 11-ти часов дня. Поразительную картину разрушения представляет дом Левита (№ 17). Вся мебель и домашняя утварь разбита на мелкие части, одежда и белье изорваны, печи во всех комнатах разобраны; в галерее, выходящей во двор, не уцелело ни одного стекла, переплеты рам поломаны, во дворе разбиты даже старые бочки от вина, старые корыта и т.п. Сильно разбиты дома Фельдмана и Чулака. В парикмахерской Ройтенберга разбиты зеркала, мебель, расхищены парикмахерские принадлежности. В аптеке Шапиро и в еврейском молитвенном доме против базара разбиты все окна. Болгарская улица пострадала, главным образом, в части, расположенной возле базара; на протяжении всей этой улицы разбиты 7 домов и выбиты стекла в окнах 17 домов. На улице поднят убитым Ихель Зельцер (Бричанский). По Михайловской улице разгромлены две лавки и квартира при них, и в 30 домах выбиты стекла. Между прочим, наряду с еврейскими домами, пострадали некоторые, обитаемые русскими, например, квартира приезжего поверенного Ожоги. По Гостиной улице разгромлено 30 домов, и разбиты окна в 59 домах. Особенно пострадали: дом Мильмана на углу Измайловской улицы, Штейнберга, Финира, где разбиты машины в заведении искусственных минеральных вод, Паскара, Брухля, Сисмана, где совершенно раздроблена дорогая обстановка квартир Герша

Боюканера и Ноэха Ширмана; плетеная мебель, резной шкаф для посуды, большой письменный стол — все разрушено и разбросано. В доме Паскаря разломана железная решетка, защищающая дверь, и произведены опустошения внутри дома. В доме Зельцермана, в котором помещается механическая мастерская обуви, разрушена вся обстановка мастерской, и совершенно разбиты три швейные машины для строчки обуви. На углу Полицейского переулка, в доме Кенигшаца, разграблены магазины ювелира Дорфмана и бакалейная лавка Зельцмана. По Гостиной же, в так называемом железном ряду, убиты извозчик Иось Гринберг и мальчик Григорий Остапов. Во дворе дома Литвака (№ 66) убиты Арон Брохман и зять его Ицко Розенфельд и тяжело ранена жена первого, Рися-Ривка Брохман. В доме № 33 убиты: Бенцион Галантер, Давид Драхман и Беньямин Баранович.

Николаевская улица в части, расположенной по направлению к вокзалу, на расстоянии нескольких переулков, сплошь завалена обломками мебели, домашней утвари, обрывками одежды и белья. По всей улице разгромлено 37 домов и выбиты стекла в 41 доме. Двухэтажный дом Мошки Прессера и мебельная мастерская Шмаи Прессера около Кировской улицы подверглись опустошению, мебель выброшена на улицу. Рядом бакалейная лавка того же Прессера в таком же виде. В том же состоянии дом Мундера, кроме выброшенной на улицу и разбитой мебели, согнуты чугунные перила на лестнице и сломаны оконные рамы и двери. На углу Болгарской улицы разгромлен дом Сруля Мазура, в котором помещается еврейский хедер и квартира частного поверенного Бенца. В доме Сруля Рожковского перебиты все стекла, несмотря на то, что на стене и дверях нарисованы кресты. В доме Вальфплессера, на углу Минковской улицы, разграблен киоск для продажи табаку. Во дворе дома № 36 убит Сруль Шелестян. По Александровской ул. разгромлена нижняя часть к вокзалу; разрушен 21 дом; окна выбиты в 39 домах. Опрокинуты и разбиты витрины фотографов Раппопорта, Шлаина и Леккера. Опрокинуто несколько табачных киосков. Около часового магазина Градбрука, близ Синадиновской улицы, разбиты висячие часы. По Киевской улице разбито 22 дома, и выбиты окна в 11 домах; особенно пострадали: дом Оксмана и помещающаяся в нем бакалейная лавка Габина, москательная лавка Брухиса и дом Шильдкрета. Из имеющихся в последнем около 25 квартир уцелели лишь три, занятые русскими, остальные, еврейские, разбиты и разграблены. По Подольской улице раз-

бито 19 домов, и выбиты стекла в 8-ми; по Львовской разбито 3, а выбиты стекла в 4-х, в том числе в синагоге на Сенной площади; по Кузнечной разбито 6, и стекла выбиты в 5-ти. По Садовой улице разгромлены 3 дома, из коих особенно пострадал дом Григоровского. Харлампиевская (Золотая) улица в начале, близ Измаиловской, не повреждена. Далее, к Бендеровской улице, выбиты стекла в 4 домах, причем на углу Бендеровской совершенно разрушена гостиница „Новая Бессарабия". На другом углу Бендеровской улицы дом Зухера Фрейдеса представляет картину полного разрушения, с поломанными рамами и разбитой мебелью. На том же квартале, с противоположной от дома Фрайдеса стороны, уцелели лишь 4-й полицейский участок и дом священника, в остальных домах выбиты стекла. На углу Болгарской улицы разгромлен дом Малятера и квартира живущего в этом доме частного поверенного Португейса. В остальной части Харлампиевской улицы, в разных местах, выбиты стекла в 32 домах, разграблены 3 магазина: ювелирный Атацкого, мануфактурный Файнберга и бакалейный Дорфмана. Здесь в беспорядке разбросаны сорванные вывески, обрывки одежды, обуви, картона и т.п.

По Яковлевской улице (Якимановский переулок), между Харлампиевской и Николаевской, биты стекла в 12-ти домах. По Кожуховской улице (Балановская), на углу Кимтской, разбита бакалейная Шлемы Школьника; на улице валяется синька, крупа, бобы. Напротив, на другом углу Кимтской улицы, разгромлена винная лавка Хаи Бейлис, причем разбиты бочки с вином. От Кимтской до Измаиловской, на всем квартале (в 15 домах), кроме дома Кишиневского однодворного управления, выбиты стекла. От Измаиловской до Остаповской разгромлены дома Кивы Померанца и Айзика Эдельмана, выбиты стекла в двух других домах, вдребезги разбито имущество в 9-ти домах, между прочим, в домах Абрама Фиштейна, Шаи Сироты, Боруха Брикера, Блюмена Геккера, Алтера Мордоковича и в двух бакалейных лавках. Во дворе дома № 36 убит Хаим-Лейб Голдис.

(Продолжение следует)

Глава 2

Ресторан Соловьева помещался на углу улицы Гоголя и Гороховой, как раз напротив редакции „Знамени". Вот уже вторую неделю Пинхус Дашевский приходил сюда ежедневно около часу дня и устраивался за столиком напротив окна. Ресторан в это время бывал пучти пуст, и официант с готовностью устремлялся к посетителю. Дашевский заказывал кружку пива и дешевый завтрак и углублялся в газеты.

Еженедельник „Восход" — единственная еврейская газета на русском языке — за подписью какого-то Криммера, мелким шрифтом печатала очередные сообщения из Кишинева с новыми подробностями разыгравшейся там трагедии. Но основное место в номере занимал скандал, разразившийся между лидерами сионизма. Один из них написал фантастическую книгу о райской жизни в будущем еврейском государстве; другой нашел эту жизнь вовсе не райской и книгу язвительно раскритиковал; третий напал на второго, обозвав его ренегатом и изменником, но получил отпор от четвертого...

Дашевский попытался вникнуть в смысл спора и был поражен тем, как много пыла и страсти отдается пустякам, далеким от жизни, как звездные миры... Как можно думать и говорить обо всем этом, да еще с такой горячностью, с взаимными нападками и оскорблениями? Есть люди, умеющие ничего не замечать. Они готовы потратить жизнь на выяснение химического состава какой-нибудь звезды или на расшифровку надгробных надписей на могилах тех, кто жил три ты-

сячи лет назад... Пинхус Дашевский таких людей не понимал. О, да, будет время, наступит! Все будут сыты, справедливы, счастливы, все будут любить друг друга. Вот тогда — да, понятно! Тогда можно будет заниматься атмосферой Юпитера или свадебными обрядами скифов. Почему не заняться, если кому-то захочется? Но сейчас, сегодня, когда негодяи пляшут звериный танец над неостывшими кишиневскими трупами... Нет, этого Пинхус не мог, не хотел понять...

Он отложил „Восход" и развернул „Биржевые ведомости". Ну, конечно, господин Проппер хранит молчание. Ни слова о еврейском вопросе. И даже о кишиневских событиях. Как вчера, как позавчера, как все эти два месяца... Ничего, кроме двух-трех сдержанных перепечаток из других газет. Господина Проппера и без того попрекают еврейским происхождением, так он не хочет устраивать демонстраций. Он издает русскую газету и никакого особенного пристрастия к еврейским делам не обнаруживает. Трус! Жалкий трус! Хочет спастись своей кротостью!.. В Кишиневе тоже все были кроткими... Их таскали за бороды и проламывали им черепа, а они униженно просили пощады. Их жен насиловали и истязали, а они прятались по погребам...

Пинхус взял из пачки следующую газету... „Новое время"! Эти молчать не будут! Что приготовил на десерт господин Суворин? О захвате евреями помещичьих земель в Псковской губернии? Это, кажется, было вчера... О щупальцах еврейских банкиров?.. Это было на прошлой неделе... Может быть о фальшивомонетчике с многозначительной фамилией Коган?

Нет, сегодня еврейским вопросом занимается Меньшиков — значит, что-то заковыристое и непременно со сладким сиропом... Ага, мирная беседа в интеллигентном доме... За столом офицер, журналист, философ. И даже еврей среди них — крещеный, конечно; иного они за свой стол не посадят. Говорят о Кишиневе.

Ого, это что-то новое! Оказывается, в бесчинствах

повинны все-таки не „сами евреи"! Кто же тогда? Неужели те, кто проламывал им черепа? Они ведь „христиане" — как же это Меньшиков против своих? Ах, вот оно что! Те христиане неистинные, ибо истинные признают только закон любви и всепрощения. Но где им взяться — истинным-то христианам? Будь все верующие во Христа истинными христианами, давно уж воцарился бы рай на Земле!..

(Так, по воле Меньшикова, говорит журналист).

Масса народная лишь называется христианской, но в ней сильны звериные инстинкты. Ну, и набрасывается она иногда на тех, от кого исходит опасность. Можно ли эту массу слишком строго судить? Совместная жизнь двух народов тяжела, вызывает взаимные недоразумения и упреки, так не лучше ли мирно разойтись, как в Библии Авраам с Лотом: „Ты иди направо, а я налево"?

„К чему, однако, все это говорится?" — читая, недоумевал Пинхус.

...Евреи совсем особый народ, поддерживает журналиста философ. Это нация без земли, нечто глубоко трагическое и страшное. Земледелец эксплуатирует природу, а человек без земли эксплуатирует человека...

„Так, так, эту песню мы уже слышали, — думает Пинхус, — что же дальше?"

Оказывается, философ желает добра евреям. У него сердце обливается кровью, когда он вспоминает их многострадальную историю: гонения, каким они подвергались и в христианском, и в мусульманском мире. Но гонители так же мало виноваты, как и гонимые. Виною всему безземелье евреев. Оно представляет опасность, которую все чувствуют, даже если не сознают. Спасение самой еврейской расы — возвращение к земле.

— Вы в этом совершенно совпадаете с сионистами, — печально говорит слушавший все рассуждения креще-

ный еврей. — Они тоже мечтают о возвращении в Палестину, где намерены создать свое государство.

— И в добрый час, ей-Богу, — говорит философ. — Отчего, в самом деле, вашим миллионерам не откупить Палестину у султана?

Так вот к чему клонил Меньшиков! Да, тут в самом деле есть что-то новое! Юдофоб заодно с сионистами...

„Нет, господин Меньшиков, — мысленно заговорил Пинхус. — Эмигрировать ли евреям в Америку или создавать свое государство в Палестине — об этом пусть ваша голова не болит. Оставьте это нам самим решать! Но пока еще мы живем в России и мы требуем человеческих прав здесь. Слышите, Меньшиков, не упрашивать мы вас будем, не хранить скорбное молчание, как господин Проппер, терпеливо ожидающий ваших милостей за примерное поведение. Мы будем добиваться, требовать! Вы правы, господин Меньшиков, ждать христианского отношения нам не приходится. В этом жестоком мире каждый располагает лишь тем, что способен защищать. Даром мы ничего не получим. Пробовали. Научены. Значит будем драться. Око за око, зуб за зуб, как сказано в наших древних книгах, которые и вы почитаете как священные. Погром может повториться еще не раз, но позора больше не будет. А кишиневский позор будет смыт. Сегодня же. Это я вам обещаю!"

Дашевский чуть не ударил кулаком по столу: сегодня!

Он уже столько раз приходил в этот полупустой ресторан, отсидел за этим столиком столько часов, просматривая газеты, но ни на минуту не выпуская из поля зрения окна, за которым хорошо виден кусок улицы и освещенный солнцем подъезд противоположного дома, что почти перестал надеяться и уже не был так напряжен, как в первые дни. Он уже приходил сюда как бы по инерции, вовсе не ожидая, что именно

этот день будет последним. И вот теперь словно кто-то шепнул ему в самое ухо: сегодня!

План его был продуман до мельчайших деталей. Да, собственно, план его был настолько прост, что и продумывать было нечего. Еще в Кишиневе он полистал кое-какие книжки и понял, что убить человека, в сущности, очень легко. Трудно скрыться с места происшествия — именно на это обычно направлены все усилия заговорщиков. Ну, а он не намерен был скрываться.

Приехав в Петербург, Пинхус первым делом зашел в книжную лавку и спросил альманах „Бессарабец" — „роскошное", как рекламировало „Знамя", издание под редакцией П. А. Крушевана, с большим числом иллюстраций и фотографических портретов известных губернских деятелей.

Ему подали действительно роскошный фолиант в красном кожаном переплете, с золотым тиснением на корешке и золотым обрезом, с отменными иллюстрациями на первосортной бумаге... Не поскупился господин Крушеван!

Галерею портретов открывал губернатор фон Раабен. Бодрый, фертом стоящий старик в генеральском мундире, с выпяченной грудью, увешенный звездами и крестами, с орденской лентой через плечо, он небрежно опирался рукою о край стола; у пояса была привешена сабля с рукояткой тонкой резной работы.

За губернатором следовал епископ с моложавым лицом и пышной бородой; за ним еще какой-то генерал, бывший бессарабский губернатор, а теперь чин в Петербурге; дальше — начальник военного гарнизона генерал Бекман. За ним следовал полицмейстер Ханженков, предводитель дворянства Крупенский, городской голова Шмидт... Далее председатель суда... Прокурор судебной палаты... Совсем незначительные чиновники... А где же — *он*? Неужели поскромничал, не поместил собственного портрета?.. Ага, вот он — самый последний! „Павел Александрович Крушеван, редактор, из-

датель газет 'Знамя' и 'Бессарабец' '' — так гласила надпись.

Пинхус стал вглядываться в лицо, отличавшееся редким благородством и красотой.

Безукоризненно прямой нос с тонкими хорошо очерченными крыльями был словно выточен из слоновой кости. Небольшая черная бородка служила как бы естественным продолжением лица, удлиняя и еще больше облагораживая его, и даже в круто поднятых д'Артаньяновских усах не было нарочитой лихости. Высокий выпуклый лоб постепенно переходил в обширную лысину, но и это не безобразило лица. Особенно приковывали к себе глаза, великолепно получившиеся на портрете: широко расставленные, большие и темные, как спелые сливы, они смотрели немного вбок; в них была затаенная грусть, задумчивость и одухотворенность.

Заплатив два рубля, Пинхус вышел из лавки, но тут же остановился, раскрыл книгу и снова стал вглядываться в эти изумительные черты. Он ожидал увидеть что-то косматое, узколобое, с дегенеративным взглядом и бульдожьими челюстями, а на него смотрело мудрое, печальное, совсем беззащитное лицо легко ранимого идеалиста с тонкой нервной организацией. Этот человек должен был многое пережить, передумать, перестрадать, но не от физической немощи, а от горьких разочарований.

Выбирая тихие отдаленные переулки, Пинхус целый день бродил по Петербургу с толстой книгой подмышкой и никак не мог одолеть охватившей его растерянности. К тому же оказалось, что „Знамя" перестало выходить, и Крушеван, вероятнее всего, уехал из Петербурга.

Неожиданное осложнение озадачило Пинхуса и вместе с тем он испытал облегчение. Оставаться в столице было не только бессмысленно, но и опасно: первая же проверка документов повела бы за собой арест и высылку по этапу. Он поспешил удалиться — все

равно куда, лишь бы в черту оседлости.

Он переезжал из одного уездного городка в другой, останавливаясь в каждом на день или полдня. Всюду царило то постоянное оживление, которое было характерно для перенаселенных городков черты. Составляя до половины, а то и до двух третей их населения, евреи — почти все ремесленники, факторы или мелкие торговцы, не имея простора для приложения своего труда, с утра до вечера бегали и суетились в поисках копеечного заработка. Нервные, шумные, размахивающие руками, они придавали этим городкам особый колорит. Каждый городок походил на встревоженный муравейник, в отличие от сонного царства таких же городков вне черты.

Переезжая с места на место, Пинхус как бы случайно оказался в Ковеле.

В глубине души он знал, что ничего случайного в этом нет, потому что он страстно хотел повидать Фриду. Но он не признавался себе в этом; ведь он твердо решил навсегда вычеркнуть ее из памяти, хотя, если до конца быть честным перед собой, это она так решила...

Еще совсем недавно он жил в этом городе, давая частные уроки в нескольких богатых семьях и снимая дешевую комнатенку в развалившейся хибаре Ривки Меерсон — рано состарившейся вдовы, обремененной четырьмя детьми и маленькой лавочкой, относительно которой у нее было только одно желание, чтобы она скорее „провалилась сквозь землю". В комнатенке, которую она сдала Пинхусу, было подслеповатое окошко, железная проржавленная кровать со сбившимся тюфяком, стол и керосиновая лампа. Лампу ему дозволялось жечь сколько угодно, потому что керосин он покупал на собственные деньги, сверх платы за жилье. Этого, однако, нельзя было сказать о дровах. За топливо Ривка ничего не брала, но печь, выходившую к Пинхусу задней стенкой, топила так редко, что у него всегда царил холод.

Вот в эту холодную комнату и приходила по вечерам Фрида.

Она снимала меховое пальто, развязывала платок, особым, только ей свойственным движением откидывала за спину тяжелые каштановые косы и, деловито обхватив его шею руками, чуть пригнув его голову и приподнявшись на цыпочки, жадно припадала к его губам. Поцелуй ее был долог и почти мучителен. Она прижималась к Пинхусу всем своим маленьким упругим телом, и они стояли так долго-долго, у него даже начинала кружиться голова.

Отстранялась она всегда неожиданно и резко. Выкрутив маленькими, почти кукольными пальчиками фитиль, задувала лампу и начинала решительно раздеваться...

Кровать была узкой, скрипучей, тюфяк горбился спиною верблюда, но они не замечали этого... Утолив первый порыв переполнявшей их страсти, они долго лежали в темноте, утомленные и немного напуганные собственным безумием, и Пинхусу хотелось плакать от чувства нежности к этому маленькому созданию, дарившему ему столько тепла.

Фрида первая приходила в себя. Подвигавшись на скрипучей кровати, она устраивалась поудобнее, подпирала голову согнутой в локте рукой и, дунув на непокорную прядь, говорила низким грудным голосом:

— Ну-у?

Пинхус заботливо натягивал одеяло на ее оголившееся плечо и начинал рассказывать...

Об аккуратном маленьком домике на Подоле и о садике возле дома, который мать содержала в идеальном порядке.

О младшем брате и младшей сестренке, которая скоро уже станет барышней.

О своем друге Мойше Либермане с толстыми доверчивыми губами и большими оттопыренными ушами.

О глухом еврейском местечке, куда Пинхуса часто отправляли на лето к деду, и где озорные еврейские

мальчишки ни слова не говорили по-русски, а его, плохо говорившего по-еврейски, дразнили „шейгецом".

О том, как дед иногда приезжал в Киев, и с его приездом в домике на Подоле воцарялась торжественно праздничная атмосфера...

Пинхус даже не подозревал, что все еще помнит все это. Но в те изумительные ночи, которые он проводил с Фридой на узкой кровати, в нем как бы начинали фонтанировать давно, казалось, иссякшие и заваленные скважины, выбрасывая на поверхность памяти то, что навсегда, вроде бы, было погребено в ее недрах.

... Когда приезжал дед, в дом набивалась целая куча бородатых евреев в неловко сидящих на них „субботних" костюмах, которые они, однако, отваживались надевать далеко не каждую субботу, так как берегли их для самых больших праздников. Это все были дальние родственники — портные, башмачники, кровельщики, точильщики, то есть народ бедный и всегда озабоченный. В обычное время они не отваживались появляться у Дашевских. Не решались лишний раз напоминать о своем существовании, приберегая родство с „самим ребе доктором", словно скопленную по грошам десятку, „на черный день", если, не дай Бог, в семье кто-нибудь заболеет или стрясется другая беда. Однако с таким дорогим гостем, как дед, все бесчисленные родственники должны были повидаться. Они держались чинно, скованно, не зная, куда девать темные заскорузлые руки.

Дед сидел во главе стола, на самом почетном месте, и все смотрели на него с неподдельным восторгом. Дед читал нараспев молитву, говорил „лехаим" и все выпивали „абысале бромфен" и пели нестройными голосами „ло мир але инейнем, инейнем..." Дед был в своей стихии. Он много говорил, а все смотрели ему в рот и одобрительно покачивали головами. Дед слыл ученым талмудистом и пользовался общим почетом. Отец и мать старались оказывать ему „кувыд", то есть всячески ублажали его, и знаки внимания те-

шили бесхитростное тщеславие старика. За его спиной мать и отец обменивались насмешливыми взглядами, но он этого не замечал.

Отец, как и многие интеллигенты-евреи, вспоминал о талмудической премудрости редко, и не иначе, как со снисходительным безразличием; так вспоминают о старой рухляди, которую свалили на чердаке, но все не соберутся, а может быть, и немного жалеют выбросить.

Когда-то, в древности, говорил отец, талмудические предписания имели, вероятно, немалый смысл. Несомненно, например, гигиеническое значение правил о кошерной пище. Но теперь эти правила вполне можно заменить другими, основанными на научных данных. Масса следует старинным предписаниям, не понимая их смысла, из присущего ей консерватизма. То же отец говорил и о других религиозных запретах и повелениях.

— Но все же он верил в Бога? — тихо спрашивала Фрида, которой хотелось побольше знать о своем Пинхусе, а значит и о его близких.

— Не знаю, — подумав отвечал Пинхус. — Вероятно, он серьезно не думал об этом. Он был врач и верил в физиологию. В синагогу ходил неохотно, только затем, чтобы на него „пальцем не показывали". Так он говорил. Но некоторые праздники очень любил, особенно Пейсах. Обстановка первого Седера, когда горят пасхальные свечи, и красное вино на столе, и маца на большом серебряном блюде, и горькие травы, и эти четыре вопроса, которые дети должны были ему задавать... Отец в это время очень походил на деда; это особенно бросалось в глаза, потому что он восседал за столом на том самом месте, куда сажали деда в его редкие приезды.

„Запомни, Пинхус, запомните все! — торжественно говорил отец. — Пейсах — это праздник нашей свободы..."

— Но тебе, наверное, это неинтересно, — спохва-

тывался вдруг Пинхус, обращаясь к Фриде.

— Глупый, мне про тебя все интересно, — отвечала Фрида и добавляла: — Все, все!

Фрида требовательно привлекала к себе Пинхуса, и неодолимая сила инстинкта снова брала верх над их молодыми телами.

... Отец хотел, чтобы Пинхус, как и он сам, стал врачом. Отец считал, что это лучшая профессия для еврея. Она давала и обеспеченное существование, и право повсеместного жительства, и общее уважение, потому что перед лицом болезни и смерти несть эллина и иудея: никто не хотел болеть и, тем более, умирать.

С десяти лет отец стал брать Пинхуса с собою в больницу, чтобы приучить к обстановке и виду человеческих страданий. Но больница лишь напугала Пинхуса, а стойкий запах карболки вызывал у него тошноту. С годами отвращение к медицине росло, но отец не хотел этого замечать. Когда Пинхус наотрез отказался подавать на медицинский, отец воспринял это как тяжелый удар и даже слег в постель. Теперь, когда отца не было в живых, Пинхус испытывал перед ним чувство неискупимой вины.

— Но тебе все это неинтересно, — спохватывался Пинхус.

— Мне все интересно, глупый, — возражала Фрида и без видимой связи с тем, что только что слышала, добавляла:

— Знаешь, за что я тебя полюбила? За то, что у тебя такие мягкие глаза.

— Но ведь сейчас темно, Фрида! — срывающимся голосом говорил Пинхус. — Ты не можешь видеть моих глаз, Фрида!

— Мне и не надо видеть, милый. Я помню.

Иногда Фрида просила:

— А теперь расскажи о твоем подвиге, — и в ее низком голосе слышались поддразнивающие нотки.

— Но я уже столько раз рассказывал, — улыбался в темноте Пинхус.

— Расскажи еще раз. Я хочу! — капризно настаивала Фрида.

И он начинал рассказывать про то, как однажды вмешался в уличную свару, а когда полицейский обозвал его „жидом", одним ударом свалил того с ног.

Фрида тихо хихикала и требовала подробностей, хотя давно уже знала, как выглядел крепыш-полицейский с бессмысленными пуговичными глазами и отвислой челюстью, „какую найдешь не у всякой лошади"; как вели Пинхуса в участок; как почти полтора месяца продержали его под арестом „за оскорбление действием представителя власти"; как завели еще отдельное дело в связи с обнаруженной при обыске брошюрой Пинскера „Автоэмансипация". Брошюра была написана лет двадцать назад, в ответ на волну еврейских погромов восьмидесятых годов; в ней выдвигалась идея создания еврейского национального очага на древней земле предков, которую каждый настоящий еврей, по убеждению автора, носит в своем сердце; Пинскер утверждал, что такова единственная возможность избавить еврейский народ от погромов и всяких иных притеснений. По какому-то недоразумению брошюра Пинскера числилась запрещенной, и Пинхусу пришили за нее дело, хотя и выпустили до суда.

Фриду очень веселила вся эта история. Выслушав ее в очередной раз от начала до конца, она говорила с оттенком иронического назидания:

— Ну вот! Будешь знать, к чему приводят несвоевременные выступления одиночек.

Маленькая, с почти детским открытым лицом, Фрида была немного старше и много опытнее Пинхуса. Она с первого дня знакомства взяла на себя руководство их отношениями, и он безропотно этому подчинился.

Они встречались на виду у всего города.

Пинхус чувствовал неловкость, когда на улице их обстреливали гневными осуждающими взглядами. Пинхус хорошо представлял себе стыд и горе родителей

Фриды, готовых „сгореть в огне" из-за вызывающего поведения дочери, но боящихся единым словом ее попрекнуть, так как она была не из тех, кто потерпел бы подобные упреки.

Однажды он сказал, что им не следовало бы так афишировать свою связь, но Фрида такими колкостями осыпала его обывательскую добропорядочность, что он больше об этом не заикался.

Держась за руки, они целыми днями бродили в овчинных тулупах и валенках по заваленному снегом городу, а иногда уходили далеко в лес, — смеющиеся, озорные, румяные от мороза, а потом прямо шли в его холодную комнату „греться", и Фрида оставалась до утра.

Она почти ничего не рассказывала о себе. Пинхус знал только, что она родилась здесь, в Ковеле, росла в зажиточной семье, но была настолько своенравна, что когда, в пятнадцать лет, ей нашли „хорошую партию", решительно отвергла жениха и „осрамила" семью. В восемнадцать она и вовсе убежала из дому. Сдала экстерном за гимназию, поступила на Высшие женские курсы, но не окончила, так как ее выслали на родину под надзор за революционную пропаганду.

О том, как она пришла к своему „делу", Фрида никогда не рассказывала, зато о самом „деле" говорила охотно и несколько поучительно, не скрывая, что намерена „навести порядок" в мозгах Пинхуса.

— В тебе еще много буржуазного, поэтому ты так озабочен еврейским вопросом и не можешь смотреть на него спокойно, с более общей и единственно правильной точки зрения. Ты увлекаешься путаными идеями сионистов, которые только вносят раскол в рабочее движение, — втолковывала Фрида. — Общественная борьба может принимать вид национальной, религиозной и какой-то еще вражды, но это всего лишь оболочка, под ней всегда скрывается борьба классов. Кучка богатеев не работает и живет за счет тех, кто работает. Они всеми средствами стараются сохранить то, что имеют. А пролетариат, напротив, стремится сбро-

сить с себя ярмо эксплуатации. Вот и все!

— Эксплуатация, эксплуатация, — сердился иногда Пинхус. — Скажи еще — „еврейская эксплуатация", и твои теории полностью совпадут с тем, что проповедует Крушеван.

— Как ты смеешь прибегать к таким параллелям! — возмущалась Фрида. — Крушеван хочет подменить классовую борьбу национальной, а заодно разделаться с еврейской буржуазией, как с опасным конкурентом. Но крушеваны обречены. Они хотят повернуть назад колесо истории, а это еще никому не удавалось. Будущее принадлежит пролетариату.

— Ты мне все уши прожужжала своим пролетариатом, — не сдавался Пинхус, — а говоришь о нем, какими-то чужими, заученными словами. Я согласен — это благородно: защищать угнетенных от притеснения угнетателей. Но для тебя угнетенные — это только фабричные и заводские рабочие. А возьми вдову Ривку, которая морозит нас в нашей берлоге, чтобы сэкономить несколько вязанок дров. В своей жалкой лавчонке она продает товару на два рубля в день, а покупает его оптом за рубль восемьдесят. Ее доход двадцать копеек, и чтобы их заработать, она должна зазывать покупателей, отчаянно торговаться, то и дело выслушивать обвинения в своей особой жидовской алчности. У нее селедка с луком на обед — это праздник, а мясо ее дети видят даже не каждую субботу. И только потому, что ее лавочка никак не провалится в тартарары, о чем она ежедневно молит Бога, она для тебя буржуйка, у тебя нет к ней ни капли жалости и сострадания.

Фрида выслушивала такие филиппики с демонстративно спокойным, почти скучающим видом.

— Ах, ах! Сколько благородного негодования, — говорила она насмешливо. — Ты так горячишься, словно я собственными руками хочу задушить эту несчастную женщину. Пойми же, наконец! Все, что ты говоришь — уловки буржуазного прекраснодушия. Встань на научную точку зрения и задайся вопросом: каково будущее

таких, как твоя хозяйка? Лишь единицы из мелкой буржуазии смогут разбогатеть, стать средними и крупными капиталистами, а большинство окончательно разорится и пополнит ряды пролетариата. Оттого что ты будешь лить слезы по твоей Ривке, ничего не изменится, ибо таков ход истории. Будущее принадлежит тому классу, которому нечего терять, кроме цепей. Ривке пока еще есть что терять, и потому она обречена. Кстати, при всей ее бедности, ей все же не следовало бы заставлять тебя постоянно дрожать от холода. Я бы на твоем месте ей об этом сказала. Но ты ведь очень „деликатный", тебе „неудобно"... Мерзнуть тебе удобнее.

Пинхус не всегда находил, что возразить, но внутри у него все сопротивлялось холодной фридиной логике.

— Хорошо, пусть будет так. Пусть то, что ты говоришь, и есть единственно верная, научная точка зрения. Но сколько же в России этого самого пролетариата? Большинство населения — крестьяне. Кто побогаче, кто победнее, но каждая крестьянская семья имеет свой надел, рабочий скот, инвентарь, то есть принадлежит к той же мелкой буржуазии, по твоим понятиям. А в городах? Много ли заводских рабочих в Ковеле?

Но у Фриды был готов ответ на любые возражения.

— Россия страна отсталая, в ней еще сильны феодальные пережитки, — отвечала она, не задумываясь. — Капитализм только начал зарождаться, пролетариата пока немного, и он плохо организован. Но зато и буржуазия еще слабая. Поэтому, может быть, именно в России рабочему классу удастся сделать первый прорыв и начать мировую революцию...

Все кончилось между ними в тот день, когда известие о кишиневском бедствии перевернуло Пинхусу душу.

Фрида пришла к нему вечером, прикрыла за собой дверь и обвила его шею руками. Приподнялась, как

обычно, на цыпочки, прильнула к его губам, а потом, резко отстранилась, загасила лампу и начала раздеваться.

Пинхус стоял как вкопанный и молча следил за ее привычными уверенными движениями, насколько их позволяла различать негустая темнота комнаты.

— Фрида! Ты сегодня читала газеты? — спросил Пинхус, когда она взялась за край одеяла, чтобы юркнуть в постель.

– Ты о Кишиневе? — Фрида обернула голову; ее белое ладное тело, слабо мерцавшее во мраке, застыло в полусогнутой позе. — Чего-либо подобного следовало ожидать. Власти нервничают и делают глупости. Но нам тоже придется сделать выводы. Надо будет разобраться почему масса пошла за Крушеваном.

Фридина фигурка вздрогнула: она передернула плечами.

— Что-то сегодня особенно холодно у тебя. Видно, Ривка решила больше вообще не топить.

И она исчезла под толстым одеялом.

— И ты... ты можешь говорить об этом так спокойно? — охрипшим вдруг голосом спросил Пинхус в темноту.

— Что же мне — рвать на себе волосы? — в свою очередь спросила она насмешливо.

И чуть помолчав, добавила нетерпеливо:

— Где же ты, Пинхус? Скорее согрей меня, мне холодно!..

Пинхус стоял, не двигаясь и почти физически ощущая, как закипает в нем неистовая ярость. Неожиданная для суховатой Фриды игривость лишь взорвала его.

— Тебе холодно!? — вдруг выкрикнул он и не узнал своего голоса. — Разве тебе может быть холодно? Ты же... ты же полено. Кусок мяса! Гадкая похотливая тварь!

Он задыхался, и слова выходили наружу с каким-то тяжелым хрипом.

— Что с тобой, Пинхус? Ты понимаешь, что говоришь? — с испуганным изумлением спросила Фрида из темноты.

— Уйди! Слышишь? Уйди! — прохрипел он в ответ. — А то... А то...

Он резко отвернулся, стараясь подавить рвавшиеся наружу рыдания.

Фрида лежала притихшая, в молчаливом недоумении и ожидании. Он не двигался, только плечи изредка сотрясались, словно от судороги.

— Значит, ты хочешь, чтобы я ушла? — стараясь быть спокойной, спросила она.

Он не ответил.

Кровать заскрипела за его спиной; он понял, что она поднялась и, вероятно, натягивает чулки.

Она одевалась медленно, словно бы нарочно давая ему время опомниться. Но он так и не обернулся. Одевшись, она постояла за его спиной, потом решительно пошла к двери.

— Ты пожалеешь об этом, Пинхус, — сказала Фрида и вышла из комнаты.

Он пожалел сразу же, как она закрыла за собой дверь. Хотел броситься следом, обнять, принести назад на руках. Но тяжелые рыдания все еще душили его, он так и не двинулся с места.

К Фриде он пришел через три дня.

— А Пинхус! — сказала она ласково и протянула руку. — Пойдем.

И они пошли, взявшись за руки, через весь город, под укоризненными взглядами евреев и евреек, словно по команде прерывавших при их появлении свою муравьиную суету и долго глядевших им вслед.

Фрида шла чуть впереди, ведя Пинхуса за руку, а он — чуть сзади, как бы немного сопротивляясь, и если бы Пинхус не был на голову выше маленькой Фриды, можно было бы подумать, что это мать уводит с улицы расшалившегося ребенка.

Миновав город, они долго шли полем, потом —

березовой рощей, которая уже одевалась первой прозрачной листвой, и вышли к обрыву речки. Летом она обычно пересыхала, но в эти весенние дни неслась мутным бурливым потоком.

Фрида остановилась, повернулась к Пинхусу и отбросила обычным своим движением косы... Так страстно она еще не целовала его. Казалось, никогда не прекратится этот поцелуй, однако в конце концов Фрида отстранилась и долго еще с напряжением всматривалась в его лицо, близоруко щуря серые глаза.

— Ну, вот и все, Пинхус, — проговорила она. — Все. Больше мы никогда не увидимся.

— Я виноват перед тобой, Фрида! — взволнованно заговорил Пинхус. — Я... я потерял голову, Фрида! Прости меня, Фрида! Я очень виноват, но больше этого не будет, Фрида. Я буду тебя еще сильно любить... Мы всегда будем вместе...

— Нет, Пинхус, — она покачала головой. — Ты ни в чем не виноват. Я все обдумала. Ты не можешь быть с нами. Для этого ты слишком впечатлителен. В тебе много интеллигентской мягкотелости. Я люблю тебя, Пинхус! Может быть, никого никогда так не буду любить. Но нам не по дороге. Рано или поздно наши пути разойдутся, а потому лучше порвать теперь. Позже будет больнее.

И прежде, чем уйти навсегда, спросила с болью в голосе:

— Ну почему, почему у тебя такие мягкие глаза?..

... Только оказавшись в Ковеле, Пинхус признался себе в том, что привело его сюда. Однако — зачем? Он этого не знал. Вернуть все к прежнему невозможно, и он это слишком хорошо понимал. Рассказать ей о своем решении? Но она бы только высмеяла его. Он хорошо помнил, как она объясняла ему, почему „партия против террора".

— Но ведь ваш Балмашов убил Сипягина! — воскликнул тогда Пинхус.

Фрида от неожиданности вздернула змеевидные брови, и ее большие серые глаза округлились сильнее обычного.

— Неужели ты не знаешь, что Балмашов был эсером, то есть социалистом-революционером? — спросила Фрида.

— А вы разве не революционеры?

— Мы эсдеки, социал-демократы.

— Но вы тоже за революцию!

— Послушай, Пинхус, как ты не хочешь понять простых вещей? Мы — партия рабочего класса, а эсеры имеют претензию выступать от всего народа. Это мелкобуржуазный радикализм со всеми присущими ему противоречиями. С одной стороны, они примыкают к либералам, выпрашивающим у царя конституцию, будто этим можно что-либо решить, а с другой — пускают в ход бомбу и кинжал. Они не понимают, что революция победит лишь тогда, когда рабочий класс созреет, чтобы подняться на борьбу. Не раньше и не позже. Приблизить революцию можно лишь постоянной пропагандой в рабочих кружках и организацией рабочих выступлений. А шумовые эффекты с бомбометанием приводят лишь к тому, что на место тупого Сипягина садится умный и хитрый Плеве... Ты знаешь его программу: сначала умиротворение, а потом реформы, что означает на деле лишь усиление реакции и репрессий. Ни к чему другому террор и не может привести. Но эсерам не терпится. Они не владеют научной теорией и подменяют ее субъективными чувствами. Когда революция сметет прогнивший режим, нам еще предстоит борьба с ними не на жизнь, а на смерть.

... Нет, Фрида не могла отнестись к его замыслу иначе, как к вредной затее.

Но, может быть, он на то и надеется, что она сумеет его остановить?..

Фриды в Ковеле не оказалось. Год высылки истек, и она уехала, не промедлив дня. Зато именно в Ковеле, спросив в грязной кофейне газеты, Пинхус обнаружил

среди них возобновившееся „Знамя". И для него началась новая мука.

Каждое утро он прочитывал газету Крушевана от первой до последней строки, с болезненным сладострастием впитывая в себя весь источаемый ею яд ненависти, а затем раскрывал альманах „Бессарабец" и вглядывался в портрет, пытаясь совместить в одном человеке завораживающие темные глаза, подернутые меланхолической грустью, и кипящую злобу, смертоносной лавой стекающую со страниц газеты. Но совместить не удавалось. Перед Пинхусом было два Крушевана: один неистовствовал, но был невидим и потому недосягаем, а другой — молча смотрел печальными глазами из книги и был совсем беззащитен. И именно этого, второго, надо было... убить!

Два несовмещающихся Крушевана рождали в самом Пинхусе два разных голоса, и они вели между собой нескончаемый спор.

„Нет, как это можно, напасть на безоружного человека", — говорил один голос, на что второй отвечал ядовито и зло:

„Ты просто разнюнился, сдрейфил и ищешь оправданий. Трус! Да, трус! Это главная черта твоего жалкого племени. Поэтому вас и топчут ногами, поэтому плюют вам в лицо, бьют и убивают, вышвыривают из окон ваших детей. Ты думал, что на это способны только звери. А они — люди, с нормальными человеческими реакциями. Просто они презирают трусов. Это вы не люди, а не они. Вы достойны презрения, вот они и презирают вас. А когда приходит охота — убивают!.. В Кишиневе шестьдесят тысяч евреев, это тысяч пятнадцать взрослых здоровых мужчин. И никакого сопротивления. „Знамя", „Новое время" кричат, что евреи тоже били погромщиков. Если бы так! Нет, они все трусы, и ты такой же, как все. Двинул раз полицейскому и вообразил себя Бар-Кохбой... О, да, будь у Крушевана физиономия гориллы, как у того полицейского, ты бы, пожалуй, не дрогнул. Велика храбрость — заст-

релить зверя!.. Но ты увидел осмысленный человеческий взгляд и разнюнился. Цыплячья душа! Где тебе поднять твою трусливую руку не на гориллу, а на человека, хотя ты и знаешь, что на его совести — муки и кровь твоих братьев... Нет, Пинхус, не тебе быть народным мстителем. Носом ты, Пинхус, не вышел, своим длинным еврейским носом!..”

Много раз мысленно Пинхус произносил подобные монологи, бичуя себя то презрением, то иронией и сарказмом, но что-то сопротивлялось внутри, и он не двигался с места. Пока однажды, перестав обличать и гневаться, он не сказал себе мягко, как обреченному: „Ну, ладно, хватит. Ты все равно не сможешь жить, если не сделаешь этого. Встань и иди.”

И ему стало ясно, что отступиться от задуманного он не волен, потому что кто-то другой, более сильный и властный, посылает его.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА

ПРОТОКОЛ. (Продолжение)... *По Оргеевскому переулку (Кожуховская улица) разбиты окна в 6-ти домах. По Яковлевской улице разгромлен дом Хаима Мофриса на углу Измаиловской улицы, выбиты стекла в доме Мерли Ровнер на углу Титовского (Петровского) переулка и учинен полный разгром в доме Элика Розенберга на углу Георгиевской улицы; в последнем доме сперва были выбиты стекла, и после того, как Розенберг стал стрелять в нападавших, последовало полное разорение дома. В доме терпимости Попика на Янкелевской площади разбито свыше 20-ти окон. От Янкелевской площади до Минковской улицы выбиты стекла в 30-ти домах, но без разграблений имущества. По Вознесенской улице разгромлены 7 домов, между которыми выделяются 3 бакалейные лавки: Хромого на углу Георгиевской улицы, Зельцера на углу Титовской и вблизи последней Давида Гольдштейна; стекла выбиты в 10-ти домах. По Большевской, от Бендерской рогатки до угла Титовской улицы, разгромлены дома: Элля Гринфельда и находящаяся в*

доме бакалейная лавка, товары в коей частью расхищены, частью разбросаны по улице и уничтожены; Бенциона Зильбердрута, где на улице перед домом валяются подушки и пух, и Берки Шапочкина, в 2-х домах поломаны рамы и в 3-х выбиты стекла. От Титовской до Инковской улицы (Ивановский переулок) сильно разгромлены дома Лейбы Вассерман, Иосифа Лехтмана, Мотеля Гриншпуна и Мошки Клеймана; все упомянутые дома стоят пустые, без имущества, с сломанными окнами и дверьми. На углу Инзовской улицы разбиты дома и флигель Исаака Хамудиса, на углу Кагульской улицы — его брата Мошки Хамудиса; обитатели и хозяева этих домов отсутствуют. Напротив разоренный и опустошенный дом и бакалейная лавка Рафули, через дом от Мошки Хамудиса бакалейная лавка Шлемы Мильнера, квартира Шмуля Вейсмана, пекарня и мучная торговля Иося Трахтенблойта также совершенно разгромлены и опустошены. На том же углу в 2-х домах разбиты стекла. От угла Кагульской улицы до угла Ставриевского и Белокосовского переулков пух покрывает всю улицу и деревья. Разбиты дом Сруля Уляницкого, два дома Вольфа Дортмана, где окна и двери выломаны и валяются на земле осколки зеркал и посуды, и Мотеля Дегтяря, в котором в комнатах лежит груда поломанной мебели. Занимающий угол Ставриевского и Белокосовского переулков дом Лейбы Ревинзона, в котором происходила продажа вина, сильно пострадал; около дома лежат поломанная детская коляска, самовар, мебель. Дом Мошки Махлера (№ 13), на углу Азиатской улицы, где были бакалейная лавка и 8 квартир, разгромлен. Хозяин дома убит. В том же доме были убиты Мотель Гриншпун и Говший Бернадский. В таком же состоянии виноторговля Зельмана Авербуха и дом Лейбы Лейбишева, близ того же угла.

(Продолжение следует)

Глава 3

... У дверей особняка, который занимал Крушеван со своим „Знаменем", дежурить было опасно: улица Гоголя немноголюдна, его сразу приметили бы, особенно в длиннополом пальто, так не отвечающим уже начавшемуся летнему сезону.

Пинхус слонялся по Невскому вблизи того перекрестка, где его пересекает улица Гоголя, хотя ему казалось, что и здесь он очень заметен и городовой с подозрением поглядывает на него.

Павла Александровича он увидел внезапно и поразился полному его сходству с фотопортретом. Среднего роста, некрепкого телосложения, он даже одет был точно так же, как на портрете: элегантный черный пиджак с отутюженными бортами и черный галстук „бабочкой", подпирающий стоячий воротничок накрахмаленной белоснежной сорочки. Это было как наваждение и длилось несколько секунд, так что Пинхус даже усомнился: уж не пригрезился ли ему оживший портрет?..

На другой день ему дважды казалось, что он видит Павла Александровича в толпе, но оба раза он обознался. Изрядно потолкавшись на Невском, он решил не спеша пройти и по улице Гоголя, посчитав, что однократное появление на ней вряд ли может вызвать подозрение. Подходя к двухэтажному особняку, в котором помещалось „Знамя", он вдруг увидел, как дверь открылась и Крушеван собственной персоной появился на пороге.

— Извозчик! — крикнул он резким гортанным

фальцетом и махнул рукой. — Извозчик, скорей!

Пинхус замер в пяти шагах. „Может быть, я опять обознался!" — мелькнула в голове неуверенная мысль. Но в это время шедший впереди него высокий господин приподнял шляпу и негромко, но внятно сказал:

— Здравствуйте, Павел Александрович!

Он! Сомнений больше быть не могло!

Извозчик, дремавший чуть дальше, на противоположной стороне улицы, развернул лошадь и подкатил к подъезду. Пинхус стоял очень близко; он отчетливо слышал, как скрипели рессоры, когда Павел Александрович поднимался в экипаж.

„Чего же я медлю!" — подумал Пинхус.

Но Крушеван уже проехал мимо.

Пинхус бросился к другому извозчику:

— Следуй за тем господином! Живее!

Извозчик огрел лошадь кнутом, она рванула с места, но, пробежав несколько шагов, видимо, наступила на гвоздь, потому что стала припадать на заднюю ногу и вскоре отстала...

Нет, убить человека не так просто, как ему думалось! Требовалось все же составить четкий план и действовать по нему...

На следующий день он впервые появился в ресторане Соловьева, окна которого прямо смотрели на подъезд „Знамени".

Ширина улицы — шагов двадцать. Крушеван выйдет и позовет извозчика. Лошади здесь всегда стоят поодаль, на другой стороне улицы (на стороне ресторана). Пока „ванька" тронет застоявшуюся кобылу, пока развернется и подкатит к крыльцу, пройдет около минуты. Вполне достаточно, чтобы выйти, неторопливо сделать двадцать шагов и — разрядить револьвер...

В первый день Пинхус не отрывал глаз от входной двери противоположного дома и лишь для видимости держал перед собой газету. Дверь открывалась довольно часто, и всякий раз его напряженные нервы сжимались в тугой комок. Но Крушеван так и не появился... И вот

уже восьмой, а может быть и девятый день Пинхус приходит на свой наблюдательный пост, но в часы его наблюдений Крушеван ни разу не выходил из дому. Видно, неудачное время. Пинхус приходил слишком поздно, а уходил рано... Проклятое право жительства! Без паспорта он не мог снять номер в гостинице...

В Петербурге был Мойша Либерман, но он не хотел ночевать у Мойши. Наверное, где-то здесь и Фрида, уж она смогла бы его устроить, но и ее он теперь не желал разыскивать. Он все решил окончательно, назад пути не было, и никто не должен был знать, что он здесь. Не надо было никого впутывать...

Спать он ездил в Ораниенбаум. Там большой превосходный парк, в котором ночью нет сторожей. А почему, собственно, следует спать в душной неопрятной комнате с нездоровыми испарениями и полчищами клопов? Ночи уже были теплые и на скамье под столетним вязом накрытый своим длинным пальто Пинхус чувствовал себя превосходно. Правда, подолгу не мог заснуть: что-то тревожное было в шорохе листьев и в проглядывающих сквозь них звездах, изучению которых хочет посвятить жизнь его друг Мойша Либерман...

В последний раз они виделись месяц назад: Пинхус после разрыва с Фридой приехал в Киев из Ковеля, а Мойша к своим старикам — из Петербурга.

Прибежал обрадованный, взволнованный, и тут же, порывисто жестикулируя, стал рассказывать.

— Профессор мной очень доволен, хочет оставить при кафедре, будет хлопотать. Надеется, что это удастся, хоть я и еврей. Он сказал, что будет бороться. Не за красивые глаза, как ты понимаешь. „Не благодарите, говорит, я это делаю не ради вас, а ради науки. Вы талантливый и трудолюбивый молодой человек, такие науке очень нужны".

Мойша был так горд и доволен собой, что Пинхуса это стало раздражать.

— И ты всю жизнь хочешь заниматься звездами? — спросил он.

— Ну, конечно! — воскликнул Мойша. — Только бы ему удалось меня отстоять!.. Видишь ли, с тех пор, как существует астрономия, приходилось довольствоваться лишь внешним наблюдением за небесными светилами. Сначала просто невооруженным глазом, потом с помощью телескопа. Так тысячи лет! А недавно у нас появился спектральный анализ. Это значит, что отсюда, с Земли, мы можем определять химический состав звезд, разбираться, что там происходит. Ты понимаешь, что это сулит!

— И всю жизнь — одни звезды? — скривился в усмешке Пинхус.

— Я тебя что-то не понимаю, — обескураженный Мойша по-детски выпятил толстые мясистые губы, из-за чего лицо его сразу стало обиженным. — Во всяком случае, это лучше, чем слоняться без дела и перебиваться уроками, не имея ничего впереди. Кстати, что ты думаешь о своем будущем? Политехникум ты бросил — ладно, хотя причины я до сих пор не могу понять...

— Я же тебе объяснил, — ответил Пинхус. — Не хочу набивать мошну господину Бродскому. Он и без меня прекрасно с этим справляется.

— Брось, это все красивые слова! Между прочим, ты отлично знаешь, что господин Бродский отвалил в свое время сто тысяч, чтобы основать реальное училище, где мы с тобой получали образование. И политехникум тоже основан при участии его капиталов. Сахарные заводы Бродского обеспечивают работой несколько тысяч человек, из них почти половина — евреи, о которых ты так печешься. Конечно, они работают много и тяжело, а зарабатывают мало, но не будь у них этой работы, многие просто бы умерли от голода. Если бы ты окончил политехникум и стал инженером на одном из этих заводов, ты мог бы улучшить производство и тем самым облегчить труд рабочих. Это не звезды, а то практическое дело, о котором ты так мечтал. И вдруг — „не хочу набивать кошельки Бродскому"!

К чему это привело? В образцовой казарме Луцкого полка тебе было лучше, чем на лекциях в политехникуме? Многому тебя там научили? „На пле-чо! Кругом! Тяни носок, жидовская морда!"

— Ну, жидовской мордой я никому не позволял себя называть! — перебил Мойшу побледневший Пинхус.

— Ты не позволял, но они все же тебя так называли. Если не в глаза, то за глаза, и ты это отлично знаешь. Но дело не в этом, а в том, что бессмысленной муштре ты отдал целый год. И только из одного каприза. Ну, хорошо, и это уже позади. Так ты теперь в каком-то захолустье перебиваешься уроками, теряя попусту лучшие годы...

— В Ковель я больше не вернусь, Мойша...

— Ну, и отлично! Садись за учебники, осенью приедешь в Петербург и поступишь в университет. Жить будем вместе. При твоих способностях тебе не страшна никакая процентная норма!

— А Кишинев?

Слово „Кишинев" стерло с лица Мойши всю его самоуверенность. Он сразу потускнел и ссутулился, даже стал ниже ростом.

— Но что мы можем сделать? Что *мы с тобой* (он подчеркнул это „мы с тобой") можем сделать?

Толстые мойшины губы снова выпятились вперед, словно у ребенка, которого больно и незаслуженно наказали. Это выражение было хорошо знакомо Пинхусу и всегда умиляло его, но теперь вызвало лишь злое раздражение.

— Что *мы с тобой* можем сделать? — язвительно переспросил Пинхус. — Конечно, изучать звезды! Профессор похлопочет и безусловно добьется своего. Тебя оставят в университете, несмотря на еврейское происхождение, и тебе даже не надо будет для этого нырять в купель. Тебя отправят на казенный счет за границу, ты вернешься с превосходной диссертацией и блестяще защитишь ее при большом стечении пуб-

лики. Я в этом нисколько не сомневаюсь — ведь ты очень способный, трудолюбивый и организованный. А господин Крушеван получит великолепный повод заявить всему свету, что вслед за русской прессой и русской торговлей евреи захватили русскую науку.

Мойша смотрел на Пинхуса с полнейшим недоумением.

— Что за околесицу ты несешь? Кто такой господин Крушеван?..

Таков ближайший друг Пинхуса, и с этим ничего не поделаешь, другим Мойша быть не может.

Он появился у них в доме еще мальчиком, лет одиннадцать-двенадцать назад, в тот страшный год, когда евреев высылали из Москвы.

Их были тысячи, этих несчастных, испуганных бедняков с огромными узлами, вмещавшими весь их убогий скарб. Москва, конечно, не входила в черту еврейской оседлости, но там долгое время был добрый губернатор, и, выжимаемые постоянной нуждой из городков и местечек черты, евреи ехали и ехали в Москву, где становились главным источником дохода для снисходительной полиции. За деньги можно было без особых хлопот выправить документ на право временного жительства и продлевать его из года в год за соответствующую мзду. Можно было проживать вовсе без документа, лишь платя кое-что околоточному надзирателю, благо губернатор смотрел на такое беззаконие сквозь пальцы. Словом, можно было существовать! Можно было как-то кормиться!.. И евреи укоренялись в Москве. Старые умирали, молодые взрослели, у них появлялись дети, которые уже понятия не имели о местах приписки, откуда некогда выехали их отцы и деды и которые, тем не менее, считались местами их постоянного жительства.

И вдруг — сменили в Москве губернатора и последовал приказ выслать всех, не имеющих права жительства...

Стон и плач стоял целый год над древней россий-

ской столицей. Кто был побогаче, за огромные взятки получал отсрочки, а бедняки за бесценок продавали свои дома, лавки, мастерские и, вконец разоренные, грузились в специально для них выделяемые эшелоны.

Все евреи России были потрясены бедой, нежданно-негаданно свалившейся на их московских братьев. Особенно тяжелая атмосфера воцарилась в Киеве, потому что Киев, хотя и находился в самом центре черты оседлости, сам в нее не входил, и большинство евреев жило в нем на тех же правах, что и в Москве: только благодаря попустительству власти, умеющей закрывать глаза на беззаконие, если оно приносит доход.

Отец Пинхуса, доктор Дашевский, вошел в комитет по сбору пожертвований для высылаемых из Москвы. Он заботился о временном устройстве тех, кто застревал в Киеве, а одну семью приютил у себя.

Это и была семья Либерманов.

Отец Мойши, Исаак Либерман, был отменным часовым мастером. Через несколько месяцев он уже имел обширную клиентуру, так что мог снять квартиру и съехать от Дашевских. Но дети остались друзьями, тем более, что стараниями доктора Дашевского Мойшу приняли в реальное училище, где учился Пинхус, и они оказались в одном классе.

Пинхус схватывал все на лету, но Мойша был много старательнее и скоро стал первым учеником. В старших классах они оба увлеклись химией и соорудили в сарае некое подобие лаборатории. Но Пинхус скоро к этому охладел, а Мойша увлекся еще физикой и астрономией. Окончив училище, он самостоятельно вызубрил не входящую в программу латынь, поехал в Петербург и поступил в университет, одолев барьер процентной нормы.

А вот в мальчишеских проделках Мойша всегда оставался пассивен. Он стоял в стороне и следил за происходящим удивленными, чуть испуганными глазами. Если возникала ссора и Пинхус бросался на обидчика с кулаками, Мойша хватал его за рукав, старал-

ся увести и потом долго уговаривал никогда ни во что не ввязываться.

— Как я могу не ввязываться? — кипятился Пинхус. — Он назвал меня жидом!

— Ну и что! — выпячивал губы Мойша. — Они всех нас так называют. Оттого, что ты с ним подерешься, что-нибудь изменится?.. Только уйдешь с расквашенным носом. Подумай сам, что *мы с тобой* можем сделать?

... Пинхус, собственно говоря, не хотел остановиться у Мойши вовсе не потому, что боялся впутать его в опасное дело. Если бы и выяснилось потом, что он проводил ночи у друга, не представило бы труда доказать, что Мойша ни о чем не догадывался. Но для этого надо было, чтобы он действительно не догадывался — иначе на следствии выдал бы себя с головой. То есть надо было утаивать от него истинную причину своего приезда, надо было прятать от его глаз оружие, скрывать многое другое... А ведь впереди Пинхуса ждали, если не растерзает толпа, арест, тюрьма, каторга... Каждый день мог стать для него последним, во всяком случае, последним днем свободы, и он хотел быть свободным по-настоящему, то есть свободным также от притворства. Гораздо проще и приятнее было проводить ночи в Ораниенбаумском парке, наедине со звездами и собственными мыслями, чем врать в глаза лучшему другу.

Только вот поезд поздно приходил в Петербург и рано уходил из Петербурга. Лишь к полудню успевал Пинхус занять свой наблюдательный пост в ресторане Соловьева. Если бы он мог предвидеть, что столько дней потеряет зря... Промедление грозило риском быть задержанным и высланным, а, кроме того, неумолимо таяли деньги. От ста рублей, с которыми он выехал из Ковеля, оставалось уже меньше двадцати...

... Когда Павел Александрович появился на улице и зажмурился от яркого света, Пинхус непроизвольно посмотрел на часы. Была половина четвертого... Не отрывая глаз от окна, он махнул официанту и поды-

маясь, быстро уплатил по счету.

— Премного благодарен-с! — официант склонился в поклоне, удивленный щедрыми чаевыми, каких никогда не получал от этого юноши.

Павел Александрович тем временем тоже посмотрел на часы, защелкнул крышку, сунул их в жилетный карман и — зашагал в сторону Невского.

„Какой же я идиот! — чуть ли не вслух выкрикнул Пинхус. — Как я не подумал, что он может взять извозчика не здесь, а на Невском!"

Он быстро накинул свое нелепое желтое пальто и выскочил из ресторана.

Павел Александрович шагал бодро и довольно быстро, хотя, по-видимому, не торопился. Он был уже шагах в тридцати, на другой стороне улицы. Стрелять было невозможно: наверняка промажешь, а то еще заденешь постороннего (хотя улица была полупуста, впереди Павла Александровича шли две мрачные фигуры и один человек шел сзади него). С грохотом пронесся экипаж, на секунду закрывший от Пинхуса Павла Александровича. Мелькнула нелепая мысль: „он исчезнет, пока закрыт экипажем!" Но лошади промчались мимо, и фигура бодро шагавшего Крушевана опять показалась на тротуаре. Пинхусу ничего не оставалось, как двигаться за ним, стараясь, чтобы расстояние между ними хотя бы не увеличивалось.

Улица Гоголя влилась в Невский проспект. Павел Александрович свернул направо, прошел мимо дремавшего извозчика.

„Ага! Значит, он намерен идти пешком! — понял Пинхус. — Тогда еще не все потеряно!"

На Невском Пинхус смешался с толпой, но ни на миг не выпускал из виду черный пиджак и шляпу Павла Александровича. Ускорив шаг, Пинхус стал сокращать разделявшее их расстояние.

„Стрелять в такой толпе невозможно... Как хорошо, что я припас еще нож!" — подумал Пинхус.

В боковом кармане у него лежал финский нож.

Он сунул туда руку, и стал открывать его, не вынимая из кармана. После нескольких неудачных попыток ему это удалось.

Нож был куплен в Киеве через того же босяка, который достал Пинхусу револьвер. Что-то толкнуло его тогда: нож тоже может пригодиться...

Павел Александрович шел, не оглядываясь и не особенно торопясь, как человек, не желающий отказать себе в удовольствии немного подышать свежим воздухом. Большинство прохожих озабоченно куда-то спешило и двигалось быстрее, чем он, поэтому Пинхус, отдавшись течению людского потока, скоро приблизился почти вплотную к Павлу Александровичу.

„Я ведь не знаю, куда он идет, — подумал Пинхус, — что, если он шагнет сейчас в сторону и скроется в ближайшем подъезде?.. Медлить нельзя, а то я опять упущу момент..."

Однако он продолжал идти вперед в двух-трех шагах от Павла Александровича и ничего не предпринимал.

„Надо действовать!" — опять сказал себе Пинхус и вдруг почувствовал, что у него подгибаются колени и какая-то тепловатая тошнотворная муть подступает к горлу.

„Нет, я не могу этого, не могу!", — сказал мысленно Пинхус и тотчас услышал гневный полный презрения окрик:

„Трус! Мелкий презренный трус! Я знал, что ты сдрейфишь. Ты — собачье дерьмо, и останешься дерьмом, будешь доживать свою паршивую жизнь с этим позором!.."

Словно подхлестнутый ударом бича, Пинхус рванулся вперед, схватил Павла Александровича холодными пальцами за шею.

„Что я делаю! — тотчас пронеслось в голове. — Разве мне задушить его голыми руками?"

Он выхватил нож и саданул в шею.

„Ну, вот и все... Сделано!" — сказал себе Пинхус

и вдруг почувствовал, что сбросил с плеч тяжеленную ношу.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА

ПРОТОКОЛ. (Продолжение)... *По Молдавской улице в 3-х домах выбиты стекла. По Георгиевской улице разгромлены 1 винная лавка, 1 аптекарский магазин Шлезингера и выбиты стекла в 4-х домах. По Синадиновской улице разбиты стекла в 9-ти домах. В еврейской школе (талмуд-торе), близ угла Николаевской улицы, выбиты более 15 окон, в типографии Гурфинкеля около Александровской улицы сломаны все рамы. Полицейский переулок подвергнут сильному разгрому. Стекла выбиты в 10-ти домах, разгромлены 6 домов, между последними, в доме Шумской, пострадали винный погреб и табачно-бакалейная лавка, в которой на полу, между опрокинутыми прилавками, в беспорядке разбросаны бумаги, куски стекол, измятые гильзы, папиросы. Рядом с этими помещениями магазин оружейного мастера Воробьева, на дверях которого нарисован крест, совершенно не тронут. Против дома Шумской — дома Когана разбиты. Помещающиеся в названных домах квартиры Балтера, Юрковского и местного присяжного поверенного Гольдштейна приведены в состояние полного опустошения. В комнатах кое-где разбросаны куски хорошей мебели и большие каменья — орудия громил. В доме Лихтмана разнесен ресторан „Париж", внутри которого лежат груды разбитых бутылок, посуды, обломков стульев, разбитых зеркал, каменья; слышится запах пролитых спиртных напитков.*

На Пушкинской улице, в верхней части, разгромлена лишь одна лавка между Львовской и Подольской улицами, и против нее в одной выбиты стекла, зато часть ее, ниже Александровской улицы, подверглась большому опустошению. Стекла выбиты в 14-ти домах, причем камни во вторые этажи, по-видимому, бросались от Николаевского бульвара. Пострадали квартиры евреев, и лишь в виде исключения, разбиты 3 окна в квартире нотариуса Писаржевского, где в окнах поставлены иконы, и одно стекло в магазине Жирардовской мануфактуры. Лондонская гостиница, контора нотариуса Залевского, парикмахерская Долголева и магазин Панаиоти совершенно невредимы.

Ниже Гостиной улицы начинается сплошное опустошение магазинов. В доме Шварца, в магазине обуви бр. Розенцвейг, валяются коробки и несколько пар старой порванной обуви, взамен расхищенной новой; в магазине Стоцкой „Парижские моды дамских шляп" разбиты зеркала, лампы, на полу несколько порванных шляп и сломанных картонок, лишь на одной из верхних полок уцелели пять рядов пустых картонок; в магазине Динера и Гринберга „Окончательная распродажа уцелевших от пожара суконных и мануфактурных товаров" ничего нет кроме пустых полок, прилавков, пустого шкафа, стула и письменного стола. В последнем доме, принадлежащем тому же Шварцу, в магазине дамских мантилий Бирбалата на полу лежат: большое разбитое зеркало, опрокинутый стол с сломанными ножками, куски стульев и металлических частей ламп; в галантерейном магазине Казанского — на полу несколько дорогих игрушек и сломанных стульев, в магазине готового платья Брахмана — обломки стекла, куски коробок, в коих сохранились костюмы, и полок; в магазине Гликмана „Швейные машины Зингера" поломаны несколько машин и штук шесть велосипедов. В доме Красильщика магазин часов М. Красильщика мало пострадал, благодаря прочным ставням, и отделался лишь несколькими разбитыми стеклами, зато помещающийся в том же доме магазин дамских шляп, галантерейный, а равно книжный магазин Шаха совершенно разгромлены; в последнем книги изорваны, залиты чернилами, письменные принадлежности поломаны; среди груды книг найдены брошенные громилами старый воротничок и старая туфля. В следующем доме в том же состоянии Московский магазин мужского платья, где громилами примерялись новые костюмы и сбрасывались старые, часовой магазин Шрейдера, в котором расхищены часы, и магазин дамских платьев Сатинова. Рядом, в пустом „Варшавском" галантерейном магазине — обломки ламп и куски. Ту же картину представляют магазины Крита, Розенфельда, Радзивиллера, Богатырского и магазины часовые и ювелирные Зильбермана, Грабсдрука и Атецкого; в последнем на прилавках несколько согнутых и поломанных бронзовых и серебряных предметов и несколько разбитых вдребезги часов. Всего пострадало около 14-ти магазинов. По Екатерининской улице разграблено 12 домов и выбиты стекла в 11-ти. По Ильинской разграблено 4 дома и выбиты стекла в 13-ти. По Фонтанной улице сильно разбиты 6 домов. Здесь, недалеко от р. Быка, разбита баня Гильдебрандта, в ко-

торой разрушены лавки, чаны для воды и т.п. По Андреевской улице выбиты стекла в 12-ти домах, и разбито 6 домов, между которыми особенно потерпели дома Гольденштейна, Клеймана и Трахтенберга.

Очень пострадали Азиатская улица, где разбиты 14 домов, Часовенный переулок с 3-мя разбитыми домами и 9 с выбитыми стеклами, Куприяновская улица с 3-мя разбитыми и разграбленными и 14-тью домами с выбитыми стеклами и Каменоломная, главным образом, населенная русскими, где совершенно разграблены 4 еврейских дома, и побиты окна в домах. По Старо-Базарной, верхней части Когульской и Яковлевской улице выбиты окна в 9-ти домах. По Грязной улице опрокинута лавочка — будка и разбиты окна в еврейской школе. Здесь, около дома № 13, 7 апреля убит Ицко Белицкий. Павловская улица на всем ее протяжении уцелела, и лишь в самом конце ее, у железнодорожного переезда, побиты окна в еврейской школе. По Глухому переулку разгромлены 2 дома и в 9-ти домах выбиты стекла, по Казацкому переулку побиты окна в 7 домах и по Макларскому в 13-ти домах. По Антоновской улице разбит дом, и в 4-х выбиты стекла. По Семинарской улице, между Гостиной и Александровской, выбито одно стекло у портного Шитенштейна. По Ясской улице, между Львовской и Ренинской, разграблена одна лавка; на улице лежат куски ящиков, рассыпаны крупа и изюм; близ Александровского сада разбито одно окно в доме богатого еврея Фукельмана. По Ранинской разграблены 3 лавки и выбиты стекла в 3-х, по Боюковской разбиты 3 лавки. По Мещанской улице, как выше упомянуто, пострадали 13-ть лавок, из них в 9-ти выбиты стекла, в 4-х разграблено имущество. В числе последних, около винной лавки Лейзера Драгуминского погнуты даже железные фонари при входе. Из городских предместий по количеству повреждений на первом месте следует поставить Гуцуловку, где разбиты стекла в 60-ти домах, хотя разграбленных среди них не замечается. Наиболее пострадавшее предместье — Скулянская рогатка, являющаяся продолжением Николаевской улицы с севера. Здесь почти подряд разгромлены самым безжалостным образом 28 домов, или, вернее, хижин. Перед бакалейными лавками всюду валяются сорванные и согнутые вывески, сломанные прилавки, жестянки для керосина, кучки угля, на земле пятна от выброшенной разноцветной краски, приготовленной к продаже на праздник Пасхи, от синьки и охры, везде рассыпана крупа, бобы, цибуля (мелкий лук). Среди разбитых домов лишь изредка усматри-

ваются сохранившиеся, отмеченные начертанными углем крестами и с выставленными в окнах иконами. В доме Беренштейна, в еврейской школе, разорваны священные еврейские книги, поломаны скамьи и столы. В сарае дома Хацкелевича убиты хозяин Давид Хацкелевич, Симха Вулер и его старуха-бабушка Эля Бегер. Здесь среди сложенных колес и других частей повозок стоит обильно пропитанный кровью диван, под которым большая лужа крови. На стене большое кровавое пятно около 1/2 аршина в диаметре. Из домов особенно пострадал последний на Рогатке, принадлежащий Янкелю Рошко. В нем не осталось ни дверей, ни окон, печи разбиты, труба разрушена, и самая крыша частью разобрана; во дворе обломки мебели, повозки и сани разбиты топором. Позади дома небольшой завод для выжигания извести, в котором дымовая труба разрушена. В подвале разбиты бочки с вином. Недалеко от Скулянской рогатки, по направлению к линии железной дороги, подверглись разграблению два фруктово-виноградно-водочных завода Зониса и Мазура. На первом разбит контрольный аппарат и разграблено имущество еврея управляющего. В подвале разбита бочка коньячного спирта. На заводе Мазура разграблено и разбито несколько ведер разлитого по бутылкам спирта; в квартире жившего при заводе контролера Денисова — испорчено и разграблено имущество.

(Продолжение следует)

Глава 4

Павел Александрович сильно любил Бессарабию, любил той пронзительной, почти болезненной любовью, какая навсегда поселяется в сердцах гордых и страстных натур аскетического склада, не способных к легким, ни к чему не обязывающим привязанностям.

Он любил бессарабскую степь, залитую щедрым солнцем, колышущуюся под ветром, как изумрудное море, благоухающую ароматом трав, полевых цветов, душистого горошка, почти всюду обрамленную на горизонте грядою лесистых гор.

Он любил бессарабские виноградники, раскинувшиеся на уступах высокого берега Днестра наподобие гигантских лестниц, ступени которых спускаются к стремительной, серебром отливающей на солнце реке.

Он любил подернутые голубой дымкой бессарабские дали, открывающиеся с высоких холмов; разбросанные там и сям молдавские деревеньки с их крохотными белыми мазанками под соломой; стада, мирно пасущиеся на сочных пойменных лугах.

Он любил старинные дворянские усадьбы с их обширнейшими садами, с цветочными клумбами перед домом; с фамильными портретами в парадных залах.

Сам Павел Александрович принадлежал к небогатой, но очень знатной семье. Его род восходил к молдавским господарям и через них — к римским патрициям. Но это не мешало ему чувствовать близость к простому народу, одевавшемуся, как столетия назад, в барашковые шапки и обширные шаровары, перехваченные широкими красными поясами.

...Молдаване-простолюдины — смуглые, скуластые, черноволосые выходцы с юга, которые вобрали в себя, однако, и некоторые черты славянского племени, вызывали у Павла Александровича особое чувство нежной заботливости — сродни тому чувству, какое старший брат питает к младшему, когда тот обнаруживает в чем-либо детскую беспомощность. Простые молдаване, по наблюдениям Павла Александровича, при сухом мускулистом телосложении имели вялые неуклюжие движения и медленную тяжелую походку. Он считал, что им чужда удаль и энергия, зато свойственна беспечность, граничившая с равнодушием к собственной судьбе. То века угнетения, с грустью думал Павел Александрович, наложили отпечаток на национальный характер, как и на унылые песни народа, на его поверья и легенды. Южная натура проявлялась порой вспышками пылкости, мстительности и щекотливого самолюбия, но вообще молдаване отличались добротой и сердечностью. Хотя женщины, при беспечности мужчин, были расчетливыми и бережливыми хозяйками, однако и им свойственны бесхитростность и доброта...

Особенно трогательным представлялся Павлу Александровичу консерватизм народных обычаев, всего уклада народной жизни, что отличало и высшие и низшие классы.

Одним из первых впечатлений детства Павла Александровича было празднование именин горячо им любимой матери, которое длилось три дня и повторялось из года в год по одному и тому же строгому ритуалу.

Ему нравилась суета прислуги, таскающей на кухню из ледника и кладовых бесчисленное количество всевозможных припасов. И ломившиеся от снеди столы, освещенные восковыми свечами в тяжелых бронзовых подсвечниках тонкой художественной работы. И огромные блюда с жареными индейками, гусями, поросятами, между которыми возвышались серебряные вазы с горками фруктов, и бутылки старого молдавского

вина из собственных подвалов, иногда тридцати-сорокалетней выдержки...

Гостей сажали столько, что кареты и фаэтоны едва умещались в три ряда вдоль длинного здания конюшен, а кучера, выводившие парами и четверками распряженных коней на водопой, шли к реке и от реки, почти непрерывающейся вереницей.

Обед затягивался далеко заполночь. В стороне, на особой скамейке сидели цыгане-музыканты и без устали играли народные молдавские танцы.

Веселье шло не только в парадных залах, но и на улице, под окнами. Деревенские парни и девушки танцевали булгаряску, русяску, сусяску и, конечно же, хору. Простой народ с таким увлечением отплясывал на голой земле зажигательные народные танцы, что, вспоминая об этом, Павел Александрович нередко недоумевал: куда же исчезала обязательная, по его понятиям, медлительность и неуклюжесть молдаван и откуда появлялась у них такая неистовая энергия...

Ранним утром второго праздничного дня у дальнего флигеля собиралась нестройная крестьянская толпа. Маленький Повалакий издали мог определить, из какого села какая группа крестьян, потому что от века заведенный обычай никогда не нарушался. Белый, как лунь, старик с черной индейкой подмышкой и стоящий рядом с ним такой же старик с полотенцем и белыми калачами в руках — из Фонтана-Алба: они каждый год приходили с калачами и черной индейкой. Из Раду-Ваки приносили барашка и пару голубей: голуби — это символ, во время потопа они были вестниками спасения. Из Новых Радовен крестьяне приходили с белой индейкой и белым гусем, а из Старых Радовен — с парами почти всех домашних животных, как символом плодородия.

„Делегатов" от деревень принимали с почетом. Их приглашали в дом, и они проходили по балкону перед хозяином и хозяйкой, одна группа за другой, вручая подарки, неловко прикладываясь к господ-

ней руке и получая по чарке водки и по белоснежному калачу.

Так повторялось из года в год. Так было еще в те времена, когда Павла Александровича не существовало на свете. Так было еще при турецком владычестве, и до турок так было...

Павла Александровича сильно волновали воспоминания детства. Они наполняли душу тихой радостью, но в то же время поселяли в ней щемящую боль и горечь. Павел Александрович был убежден, что дорогие его сердцу обычаи длились бы вечно, если бы... если бы медлительность, безынициативность, беспечность молдаванина не пришли в соприкосновение с юркой неугомонной пронырливостью еврея.

При всей своей горячей любви к родному народу Павел Александрович был чужд какого-либо местничества или сепаратизма. Маленькая Бессарабия была для него лишь частицей великой России, а молдавский народ — родным братом православных славянских народов. Проблемы родного народа Павел Александрович рассматривал лишь как наглядный пример тех проблем, какие стоят перед всей Россией, и враги родного народа, по его глубокому убеждению, были те же, что у всей России.

А враги — о! — они были хитры и коварны. Но Павел Александрович их видел насквозь.

...В пансионе Первой кишиневской гимназии, куда десятилетним мальчиком отдали Повалакия Крушевана, кормили, как и во всех казенных пансионах: несытно и невкусно. Неизменный пансионный обед быстро надоедал гимназистам, потому что повторялся годами изо дня в день.

И изо дня в день, после обеда, в пансионе появлялся старый еврей Янкель.

Несколько выше среднего роста, с седой бородой „лопатой", в длинном засаленном халате, он держал в руках две большие корзины, полные вишен и черешен,

или кистей винограда, или остро пахнущих оранжевых апельсинов — в зависимости от сезона.

Полуголодные барчуки-гимназисты с радостными криками обступали Янкеля, а тот, добродушно улыбаясь, доставал весы с маленькими чашечками и стрелкой посредине — точь-в-точь такие, что держала в руках статуя Фемиды в Кишиневском окружном суде, — и начинал отвешивать свой божественный, вызывающий обильное слюноотделение товар, останавливая качающуюся стрелку длинным согнутым пальцем.

Бывало, гимназисты так дружно наваливались на Янкеля, что растаскивали половину его товара. Но еврей не сердился, он добродушно улыбался. Иные из гимназистов не имели денег, но Янкель и им не отказывал в лакомстве. Он лишь извлекал из-под полы засаленного халата маленькую, тоже засаленную книжечку, сшитую из обрывков гимназических тетрадей, и протягивал ее юному покупателю вместе с огрызком карандаша, отточенного крепкими зубами самого Янкеля. Фамилию и сумму долга гимназист вписывал в книжечку сам.

Павел Александрович навсегда запомнил те острые мучительные переживания, может быть, самые острые и мучительные в его жизни, какие были связаны с книжечкой Янкеля Добродушного, как звали его гимназисты.

Как и другим гимназистам, деньги Повалакию дарили к праздникам, и, разумеется, в самом ничтожном количестве. Исчезали они очень быстро, в основном, в кондитерской Флорина, на углу Пушкинской улицы и Александровской, где можно было съесть пять-десять трубочек с кремом и запить чашкой горячего шоколада.

Деньги исчезали, а Янкель не исчезал.

Каждый день, ровно в три после полудня, в конце длинного пансионного коридора открывалась одна половина двери, и в ней показывалась тяжелая корзина, наполненная до краев и прикрытая рваной мешковиной,

если дело было зимой, или обрывками бумаги с темными пятнами от раздавленных ягод, если летом. Вслед за корзиной в двери появлялась половина сутуловатой фигуры Янкеля. Затем — вторая его половина. И, наконец, вторая корзина, точь-в-точь, как первая.

Повалакию с пеленок внушали, что самый большой, самый страшный, самый непростительный грех на свете — это делать долги. Он так твердо усвоил эти внушения, что когда в гимназии стал изучать Закон Божий, то никак не мог понять, отчего это среди десяти главных заповедей отсутствует: „Не делай долгов". Однако соблазн был сильнее родительского запрета, сильнее страха Божьего, и Повалакий попал-таки в книжечку Янкеля.

Сознание совершенного преступления жгло детскую душу, а страх перед тем, что оно откроется, заставлял по ночам украдкой плакать в подушку... Но добродушный искуситель появлялся снова и снова, неизменно в три часа дня. И долг Повалакия удвоился. А на Рождество, когда мальчик надеялся получить денежный подарок, за ним из деревни никто не приехал, а просто был прислан экипаж. Ему пришлось прятаться от Янкеля и уехать из пансиона тайком, словно он проворовавшийся жулик.

Праздник был отравлен. А после рождественских каникул он смог отдать Янкелю только часть долга, доросшего до четырех рублей. Относительно другой части приходилось изворачиваться, врать, униженно просить подождать до завтра, а завтра опять изворачиваться и врать.

Янкель укоризненно качал головой, говорил, что обманывать нехорошо, грозил, что покажет книжечку отцу.

А Повалакий был горд и самолюбив! Товарищи знали, что он не терпит даже безобидных шуток в свой адрес. Учителю, который однажды прикрикнул на него на уроке, он громко сказал:

— Я Крушеван! Вы не смеете кричать на меня!

И только перед ничтожным евреем в засаленном халате он должен был заискивать и унижаться, потому что никак не мог обуздать себя и роковым образом снова и снова попадал в его книжечку.

Став взрослым, Павел Александрович понял, что это была болезнь, и не его одного, а всей Бессарабии, даже всей России. Он в шутку называл эту болезнь „янкелизмом". И в том, чтобы излечить от нее родной край и Россию, он видел свое предназначение.

Павел Александрович не упрощал исторического процесса.

Он знал, с чего начал рушиться вековой уклад жизни...

Поворотное событие почти совпало с его рождением: он еще лежал в колыбели, когда русский царь пожелал облагодетельствовать народ и даровал ему освобождение от крепостной неволи. Правда, бессарабские крестьяне не были крепостными, и манифест 1861 года их не касался. Но оставаться по-старому уже не могло: ведь в России крестьяне получили и волю, и землю, а в Бессарабии, хотя и были свободными, но своей земли не имели и за получаемый от помещика надел должны были отрабатывать барщину не хуже крепостных.

Повалакию было лет восемь, когда вышло новое повеление от царя, уже прямо касавшееся Бессарабии и требовавшее наделить крестьян землей. И он помнит, какое смятение охватило отца, да и других помещиков, бывавших в их доме и приносивших с собой пугавшие своей непонятностью слова: „кредит", „процент", „вексель".

Иным из помещиков пришлось отдать крестьянам до двух третей принадлежавшей им пахотной земли. За выкуп, конечно. Но на выкупные платежи давалась рассрочка, да и величина выкупа за десятину была определена по нормам средней России, то есть вполовину истинной стоимости тучной бессарабской земли. А, главное, получив землю, крестьяне перестали выхо-

дить на барщину, а для найма рабочих требовались наличные деньги, которые приходилось брать в долг.

Однако Павел Александрович не сомневался, что беспечные бессарабские помещики преодолели бы все трудности, не явись им на помощь вездесущий Янкель со своей засаленной книжечкой.

Павел Александрович ясно представлял себе первое появление этакого Янкеля в воротах имения какого-нибудь кукону Тодерика, в излюбленный янкелями послеобеденный час.

Кукону Тодерика кейфует на крылечке после обильных бессарабских кушаний и возлияний, а оборванный, грязный, исхудалый, с тревожными бегающими глазами еврей еще у ворот снимает шапку и, кланяясь, не подходит, а почти подползает к кукону Тодерика, моля только о том, чтобы его не прогнали, как шелудивую собаку.

Янкель три дня не ел, три ночи спал под открытым небом. Он просит только работы. Любой. И за самое мизерное жалование. Даже вовсе без жалования, только за кусок хлеба...

Кукону Тодерика не любит евреев. Но послеобеденный кейф... И вообще... И в хозяйстве всегда сгодится работник, не берущий жалования...

Янкель вертится перед глазами кукону Тодерика, он готов по первому сигналу бежать выполнять любое поручение. Кукону Тодерика постепенно привыкает к озабоченной суетливости Янкеля, он уже справляется о еврее, если почему-либо не видит его... Проходит время, и Янкель — не мальчик на побегушках, а приказчик. Только ему доверяются важные поручения. Только он может достать денег для своего хозяина; только он умеет уговорить кредиторов взять меньший процент и дать отсрочку на платежи; только он теперь ездит в Кишинев совершать самые ответственные финансовые сделки...

Янкель пополнел, приосанился, приоделся. Где прежний затравленный вид, где униженные поклоны и за-

искивающий взгляд? Все кругом ломают шапку перед Янкелем. А кукону Тодерика просто влюблен в него. Без еврея он не делает шагу, потому что только Янкель умеет оградить его от кредиторов, только он еще умеет доставать деньги.

И вот уже Янкель — арендатор имения. Кукону Тодерика счастлив: ведь если бы не Янкель, имение продали бы с молотка. А так — все хорошо устроилось! Арендная плата — самый надежный и верный доход с имения: она не зависит ни от капризов погоды, ни от урожая, ни от переменчивой конъюнктуры рынка.

Правда, кукону Тодерика живет теперь скромно во флигеле. В барском доме поселилось семейство Янкеля и его компаньоны. Без них никак нельзя было устроить дело: ведь Янкель только Янкель, у него ничего нет, кроме умной еврейской головы на плечах!

И кукону Тодерика наивно верит всему этому. Он так и не узнает секрета еврейских махинаций. Он не узнает, что захват его имения произведен Янкелем по тайному постановлению кагала, предоставившего ему монопольное право эксплуатировать беспечного помещика...

Над Павлом Александровичем потешались, советовали лечиться от навязчивых видений. Кагалы, говорили ему, упразднены лет пятьдесят назад, да и раньше существовали лишь для удобства властей: чтобы исправно взимать подати с еврейского населения. Но на подобные жалкие возражения Павел Александрович лишь улыбался той особой скорбной улыбкой, когда смеются одни лишь губы, а глаза, большие, черные, как спелые сливы, смотрят с такой грустной серьезностью, словно кроме того, что видят другие, им дано видеть еще нечто такое, в чем и заключена суть вещей.

— Большинство бессарабских помещиков отдают имения в аренду евреям, — терпеливо объяснял Павел Александрович. — Закон запрещает евреям арендовать землю, но они находят подставных лиц, подкупают полицию и благоденствуют. Патриархальные отношения

помещиков с крестьянами распадаются: между ними становится еврей — этот вечный разрушитель исконных устоев жизни. Окиньте взглядом историю Европы. Евреев гнали из страны в страну, и всюду они приносили с собой свою деловитую изворотливость, свои деньги и свое нервное беспокойство. Они заполняли брешь между высшими и низшими классами общества и развращали тех и других. Потом их изгоняли, но уже было поздно. Посеянные семена разложения прорастали бурьяном неверия, идеями свободы, равенства, демократии, что на деле означало лишь смуту, низвержение законных властей и — подчинение тайному еврейскому правительству. Россию Господь долго миловал от этой заразы, но после раздела Польши, погубленной, конечно, евреями, а затем и присоединения Бессарабии, где евреи поселились с первых веков христианской эры, огромные массы их стали подданнными России. Господь надоумил государей установить черту оседлости, чтобы уберечь от разлагающего элемента хотя бы коренную Россию. Но они проникают и за черту, обосновываются в столицах, подкупами и обманом перетянули на свою сторону большинство образованного класса и ведут дело к революции. В черте оседлости они хозяева, несмотря на все ограничительные против них законы. Теперь они с наглостью добиваются полного уравнения в правах, и в этом им помогает либеральное русское общество, которое не хочет понять, что предоставление равных прав евреям означало бы гибель России. Мало кто осмеливается открыто говорить эту правду. Я осмеливаюсь, и они набрасываются на меня, готовые растерзать.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА

ПРОТОКОЛ. (Продолжение)... *В предместье Негрештены пострадало всего 3 дома. В двух домах побиты окна и поломаны*

двери, в доме же Хаима и Ицки Крейчмарей все уничтожено. В предместье Табакерия 6 домов разгромлено и в двух побиты (стекла). У Зелецмана Авербуха уничтожены товары в бакалейной лавке, все движимое имущество выброшено во двор и попорчено. Также все разгромлено в лавке Ханы Гуревич, Хаима Файермана, Иойны Бангука и в сапожной мастерской Нафтула Беймаса. Сильно пострадала еврейская школа, находящаяся в мастерской Беймаса. По объяснению местных жителей, толпа громил двигалась по направлению от вокзала, и к ней присоединились жители Табакерии. В предместье „Кавказ" разгромлено 11 домов. По Киевской улице совершенно уничтожены бакалейные продукты, и пролито из бочек вино у Бенциона и Хаскеля Авербухов и у Брунфинтена, у Сары же Брейтман все в квартире поломано и разбито. По Московскому переулку та же участь постигла и дом Мошки Базбойна. В остальной части „Кавказа" печальный вид разрушения представляют дома: Ицки Авербуха, Мордки Малера, Рухли Эйзнер, Файвеля Лернера, Иося Терпера и Кейля Коза. Все это — по большей части бакалейные лавки и виноторговли. Кейля Коза убита в своем доме. По Мунчештской дороге всех поврежденных домов 44. От вокзала до керосинного склада Товарищества Бр. Нобель все еврейские лавки и еврейские дома разграблены до тла. На улице лежат обломки мебели, рассыпаны бакалейные товары. Перед мануфактурными лавками на тротуарах и мостовой валяются разорванные бумажные коробки и обрывки материй и лент. В аптеке и прилегающем к ней аптекарском магазине, против вокзала, на полу разлиты лекарства. Среди домов сильно пострадал от пожара дом Михаила Сафрония, в котором скрывалось еврейское семейство Розенбергов. Весь дом сгорел; остались голые стены и потолок, над которым возвышаются две высокие почерневшие трубы. Сравнительно в лучшем состоянии находятся 3 дома, в которых только разбиты стекла. Против склада Нобелей, в разрушенном до тла доме Янкеля Туника убиты хозяин дома Туник и Арон Коган. Сильно пострадали жилые дома при складах керосина т-ва бр. Нобель и Лившица: все имущество лежит во дворе или улице, мебель изломана в куски, вместо дверей и окон жалкие остатки. Однако в складе повреждены лишь окна. Такой же вид имеет дом мукомольной мельницы бр. Гендрих. Склад при мельнице остался цел, но все мелкие инструменты в нем расхищены. Далее в доме Иося Шора, где помещается винный погреб, все уничтожено, в винном погребе выпущены частью вина. Следующие шесть домов, занимаемых евреями Бронфманом, Розен-

бергом, Крембергом, Ульманом и другими, совершенно разграблены. В доме Петракия убиты супруги Фонаржи, а в саду Бусуйка — Ульман. Всюду на улице и домах пух от подушек и перин.

По Бочайской дороге пострадало 27 домов. На повороте от Мунчештской дороги к Бочайской стоит дом Ицки Бронфмана, в котором все разграблено, и не осталось даже подобия ставен, окон или дверей. Обращает на себя внимание раздробленные в щепки мебель и домашняя утварь. На кафельном заводе Гугена, в жилом доме все уничтожено, посуда побита вдребезги, рояль расколот на две части, которые соединяются лишь 3-4 струнами. Кроме того, на самом заводе мебель поломана, та же участь постигла и кафельные плитки, из коих некоторые измельчены. На мыльном заводе Трахтенберга имущество изломанной грудой лежит в доме и вокруг дома. Совершенно разграблены населенные евреями дома Бумбу, Падураца, Беско, Сагуцина и др. Сильно пострадали дом учителя семинарии Глована, состоящий из двух квартир, в одной из которых живет еврей, а в другой сам хозяин. В последней квартире выставлены окна и двери, на полу лежат разорванные рукописи и книги, научные, духовные и др. По всей Бочайской дороге летает пух от перин и подушек. Городская бойня состоит из 11 строений: 5 жилых и 6 нежилых. Бойня подвергалась нападению дважды 7-го апреля, в 12 часов дня и в 3 часа дня, причем пострадали 2 квартиры евреев при кишечном и салотопном заводе и здание, где живет еврей-надсмотрщик. Они разграблены дотла. Остальные здания не тронуты. В конюшне кишечного завода в яслях убит Мотель Мендюк. В предместье Мелестриу разграблены 4 дома, занимаемых евреями, хотя 3 из них и принадлежат русским (Степана Негуры, Парна, Дмитрия Левешко). Три лавки совершенно разграблены, бакалейные продукты лежат на улице и во дворе, растоптаны, разлиты и размельчены. В хлебной лавке Данильченко разбиты только окна. Всюду пух от подушек и перин.

По Ганчештской дороге разгромлено 24 дома. В доме Степана Гаврилова пострадало 2 еврейских квартиры и бакалейная лавка. Все побито, лежит массами во дворе и в комнате, расколоченное, измятое и размельченное. В сундуке собраны грязные остатки меховых шуб. На простынях, подушках и тюфяках следы топоров. Всюду пух. Сильно пострадали винная торговля и погреб Янкеля Кигельмана. В квартире нет ни одной целой вещи, в погребе море вина. Та же участь постигла Дурлештера и Банимовича. Пострадало три дома Николая Прешеневского в

квартирах, населенных евреями; в них разграблены 4 еврейских квартиры: мебель, изуродованная и расколоченная, лежит во дворе и комнате; в домах сохранилось лишь подобие окон и дверей, остатки люстр и цепей от висячих ламп. В доме Дувида Рейтмана 2 комнаты уцелели, остальные разграблены дотла. В доме Мошки Неймана квартира наполнена одними обломками, и о жилом помещении говорят только две уцелевшие картины и круглый стол между ними. В другом его доме нет ни одной целой вещицы. В доме Кастакия Инкулиза 4 квартиры, занимаемые евреями, из них две под лавками. Все разбито и обсыпано пухом. То же и в доме Шмереля Фукса. В доме Пантелея Жено, в еврейской лавке в доме Игната Зверева рассыпана кукурузная мука и все облито керосином и уничтожено. Бочарный завод Бланка не тронут, контора же участи подверглась и еврейские квартиры остальных 6 домов...

(Продолжение следует)

Глава 5

Павел Александрович рванулся всем телом, резко обернулся: перед ним мелькнуло лимонного цвета пальто, бритое, бледное, почти юношеское, несомненно еврейское лицо.

Пинхус бросил нож, и он, звякнув, покатился по тротуару. Павел Александрович быстро нагнулся, чтобы его подобрать, и в этот миг почувствовал, как из раны заструилась его теплая кровь, заливая воротник крахмальной сорочки.

„Я ранен! Смертельно! Это конец!..” — вдруг понял Павел Александрович.

Как обычно при мыслях о смерти ему представился газетный лист с широкой траурной каймой, со скорбными статьями, воспоминаниями, некрологами, повествующими о его жизни, о его героической борьбе, о главных его идеях. Но все это тотчас было отодвинуто другим, необычайно сильным и заполнившим все его существо чувством.

„Жить! Жить! Обязательно — жить! Любой ценой — жить, жить, жить!..”

А жить значило немедленно действовать. И по властному велению этого нестерпимого желания, он бросился за убийцей, чье длинное пальто лимонного цвета уже мелькало где-то впереди, среди прохожих.

„Не дать уйти. Не дать уйти еврею!”

— Держи! Держи его! Городовой! — закричал Павел Александрович, размахивая финским ножом, подобранным с тротуара, и своей щеголеватой палкой.

Прохожие шарахались в стороны, а городовой сонно

скучал на углу и, видимо, не слышал обращенного к нему призыва. Еще несколько секунд, и преступник навсегда растворится в толпе.

— Городовой! Городовой! — еще громче, срываясь на фальцет, закричал Павел Александрович, но городовой не обнаруживал никакого интереса к происходящему.

Однако злоумышленник не растворился. Павел Александрович видел, как, поравнявшись с городовым, он остановился и что-то ему сказал.

Городовой повернул голову в сторону человека в лимонном пальто и уставился на него, явно не понимая, что тому нужно. Молодой человек еще что-то сказал, но в этот миг к ним подбежал Павел Александрович и схватил желтое пальто за рукав.

— Городовой! Ты что же стоишь, как пень на дороге? Держи его, а то он убежит!

Павел Александрович запыхался от быстрого бега и от пережитого страха, который он еще не успел в себе побороть. Городовой перевел взгляд на Павла Александровича и уставился на него с тупым удивлением. Нижняя челюсть городового отвисла и из-под пышных усов выставились черные прокуренные зубы.

Дашевский тоже уставился на Павла Александровича. Он видел перед собой бледное лицо с растрепанной бородкой и заметно трясущимися бледными губами. В больших черных глазах не было грустной меланхолической задумчивости; они горели гневом и в то же время в них было что-то тревожное и жалкое. Это был гнев затравленного зверя.

Губы Дашевского расплылись в широкой улыбке. Он сказал тихо, спокойно, с расстановкой, почти приветливо:

— Не надо нервничать, Павел Александрович. Я не затем сдался городовому, чтобы вдруг убежать.

...Через полчаса арестованный был допрошен судебным следователем. Он назвался Пинхусом Срулевичем

(или Петром Израилевичем) Дашевским, бывшим студентом Киевского Политехнического института, двадцати трех лет. Он подтвердил факт совершенного им нападения на Полицейском мосту на Павла Александровича Крушевана, издателя и редактора газет „Знамя" и „Бессарабец", с целью лишить его жизни, но виновным себя не признал. Личных счетов с потерпевшим он не имел, знаком с ним не был и увидел его впервые уже после того, как задумал убить, полагая своим правом и даже обязанностью отомстить за кровь кишиневских евреев, так как считает его главным виновником погрома. Действовал он один, в свои намерения никого не посвящал, в Петербурге со времени приезда ни с кем не встречался. Сдался властям добровольно — в полном соответствии с первоначальным замыслом. На вопрос о том, почему не употребил в дело найденный при нем револьвер, Дашевский ответил, что опасался ранить кого-либо из случайных прохожих, а на вопрос, почему ударил ножом только один раз, ответил, что сам того не знает.

Пострадавший был допрошен через два часа после происшествия и в основном подтвердил эти показания. Он лишь сказал, что преступник был задержан, а вовсе не сдался по доброй воле. Наиболее важное различие в показаниях состояло в том, что, по мнению Крушевана, нападавших было двое: один схватил его двумя руками за шею, а другой нанес удар. Однако второго из нападавших Павел Александрович не видел, а Дашевский, вызванный для передопроса, усмехаясь сказал, что Крушевану это померещилось со страху.

Происшествие на Полицейском мосту стало главной темой обсуждения прессы в следующие дни. Больше других газет о происшествии писало, конечно же, „Знамя". Павел Александрович подробно повествовал о том, что случилось с ним до и после покушения; какое участие приняли в нем прохожие, особенно какой-то офицер, у которого он в горячке не спросил

фамилии. Офицер завел его в ближайшую аптеку, но когда над ним склонилось встревоженное лицо вызванного провизором врача, Павел Александрович отшатнулся от него, так как признал в нем еврея. Вторая и третья аптеки тоже оказались еврейскими, поэтому Павел Александрович, так и не получив первой помощи, попросил посадить его на извозчика и, зажимая рану рукой, поехал к себе в редакцию. Неожиданное появление окровавленного издателя переполошило сотрудников, некоторые из них даже рыдали, чего Павел Александрович также не скрыл от читателей. Он получил повод еще раз порадоваться тому, что не имеет семьи, которую происшедшее с ним несчастье повергло бы в страшное горе.

Через полчаса пришел врач Стеценко, служивший при градоначальстве и вызванный по телефону: в безупречно-христианском происхождении этого врача Павел Александрович не сомневался. Стеценко промыл рану и наложил на нее повязку. Рану он признал не опасной.

Крушеван сообщил читателям, что нанесенная ему рана имеет глубину три-четыре сантиметра, но он сильно преувеличивал. Позднее, когда в суде зачитали акт экспертизы, оказалось, что рана была только в полтора сантиметра, и не глубиной, а длиной. То есть представляла собой легкую царапину...

Однако факт состоял в том, что дерзкое нападение произошло „среди бела дня, в столице России, в самом центре ее, на Невском проспекте в присутствии тысячной толпы". Так с негодованием писал Павел Александрович, и многие тревожились за него. Позднее стало известно, что о его здоровье ежедневно справлялся сам государь.

Со свойственным ему талантом Павел Александрович извлек из случившегося максимальный эффект. Поступок Дашевского он трактовал в свете всеобщего заговора, направленного в первую очередь на уничтожение наиболее опасных для еврейского владычест-

ва русских патриотов, к которым он, разумеется, себя причислял.

„Итак, номер первый сошел „благополучно". Очередь за следующим! Милости просим. Но все-таки, господа, вы убьете только меня, вы никогда не сможете убить саму правду. А эта правда всегда и на каждом шагу будет кричать вам, что вы все больше и больше вооружаете против себя тех, кого судьба обрекла жить с вами. И я убежден, что в то время, когда вам удастся уничтожить меня, найдутся другие, которые станут говорить вам ту же правду, и вы никогда никуда не сможете уйти от нее. Богу угодно было сегодня защитить меня от вас. Я верю, что он тем более защитит от вас и весь русский народ. Вы пролили мою кровь. А я, как видите, продолжаю говорить: так велика моя вера в мой долг и святое дело, которому я служу". И дальше он сравнивал себя с Галилеем, который не дрогнул перед судом инквизиции...

Кое-кто иронизировал над тем, как пышно Крушеван разукрашивает незначительное происшествие. Высказывали даже шуточное предположение, что Павел Александрович инсценировал нападение, наняв в ночлежке какого-то босяка. Однако большинство газет выражало сочувствие потерпевшему. Либеральная печать всегда выступала за гласность, за свободный обмен мнениями, за то, чтобы с идеями боролись одни лишь идеи. Не могла же она изменить своим принципам только оттого, что в данном случае от нетерпимости к свободному слову пострадал ее противник.

„...По-видимому, евреям надоело служить приниженными жертвами... Леккерт-еврей стрелял в фон-Валя*, Дашевский покушается на Крушевана... По-видимому, Дашевский — интересный и новый тип среди еврейской интеллигенции", — записал в дневнике на

---

* Фон-Валь — Рижский губернатор, на которого было совершено покушение.

следующий день после происшествия Владимир Галактионович Короленко.

Короленко жил в Полтаве, но ни отдаленность от Петербурга, ни положительная оценка личности Пинхуса Дашевского не помешали ему точно понять смысл случившегося. Тогда же он записал:

„Крахмальная сорочка ослабила удар, и Крушеван дешево попал в герои. Трудно было оказать лучшую услугу этому изуверу".

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА

ПРОТОКОЛ. (Продолжение)... *В сел. Скиносах разграблена лавка Баруха Геревицкого, в коей выломаны двери и окна. По Измаильской дороге, на даче бр. Дубинских все расхищено. Большая часть частокола выдернута и исчезла без следов. В доме Василия Кожухаря разгромлен еврейский винный погреб, бочки плавают в вине. На Малой Малине совершенно разбиты лавки Луднера и Барбалета. На даче доктора Когана побиты окна. На даче Перльмутора посуда разбита вдребезги, висячая лампа сорвана, мебель изрублена на части и выброшена из окон. В парнике разбиты стекла и вырваны цветы. На даче частного поверенного Зальцмана разбита статуя в саду. В доме все разграблено, разорваны все дела и бумаги, в погребе выпущено 20 бочек вина. На даче присяжного поверенного Мохрика вся мебель изломана, зеркала разбиты, картины порваны, книги и деловые бумаги изорваны на мелкие куски. В окнах нет рам, двери изрублены, электрические батареи повреждены, и проволоки согнуты и рассечены. Все шкафы пусты, не тронуты лишь стенные шкафы. Погреб состоит из 3 мин. Вино из бочек выпущено, и бочки плавают в вине. Помещение для выделки вина (крема) и кухня разгромлены, и машины для выделки вина испорчены. Дом Эля Каушанского в таком же состоянии. Занавеси и гардины сорваны и порваны на части. В столовой сохранились осколки висячей лампы, а на веранде — фонаря. В доме разбиты стекла, погреб разграблен. В другом доме того же владельца все разбито. Около дома найден убитым неизвестный русский человек. На Большой Малине, на даче Страхилевича и*

Златопольского в еврейских квартирах все разгромлено. В доме Прилика и 2-х прилегающих к нему еврейских домах побиты окна. Боюканы, где беспорядки происходили 8 апреля, и местные евреи имели время, приготовившись к ним, спрятать более ценное имущество, пострадали сравнительно мало; 5 домов отделались только выбитыми стеклами, а 9 разгромлены, причем поломана убогая мебель, разбита посуда и расхищен кое-какой товар из лавок, да выломаны двери и окна.

Из осмотра города Кишинева и его предместий усматривается, что беспорядки были направлены исключительно против еврейского населения, обрушившись на их торговые помещения, квартиры, молитвенные дома и школы, и если подвергались нападению помещения, занимаемые лицами, не принадлежащими к еврейскому племени, то такие явления, чисто случайные, вызванные лишь близким соседством с квартирами евреев или другими причинами случайного характера. Даже в наиболее разгромленных районах, как то: в нижней части Пушкинской улицы или в ближайшей к вокзалу части Николаевской, магазины, конторы и квартиры неевреев уцелели, особенно, если принадлежность их к иному вероисповеданию доказывались выставленными в окнах иконами, куличами или пасхами, или нарисованными на стенах и дверях крестами. Однако, некоторые евреи, воспользовавшись таким способом ограждения своего имущества, подверглись полному разгрому, из чего можно заключить, что среди буйствовавших принимали так же участие лица, жившие вблизи разгромленных домов и знающие их владельца. Главная масса громил — обитатели окраин, проникнув в город с разных сторон, а преимущественно со стороны Чуфлинской площади, откуда они перешли к Новому базару, рассыпались партиями по разным улицам, где к ним присоединились новые лица из числа зрителей. Кроме ближайших к Новому Базару и окраинам улиц: Большевской, Кожухарской, Остаповской и отдаленной от центра южной части Николаевской улицы и прилегающих к ним, главной ареной деятельности громил является центральная Пушкинская улица в части, расположенной против Собора и Николаевского бульвара. В прочих местностях подверглись разгрому лишь отдельные, разбитые мимоходом еврейские лавки.

Из обобщения почерпнутых при осмотре сведений о разбитых и поверженных домах получаются следующие цифровые данные: в первой части из всего количества 576 домов пострада-

ло около 100 во второй части из 1042 — около 600, в третьей из 1482 — около 250, в четвертой из 1049 — около 400 и в пятой из 4360 — пострадало около 130 строений. Таким образом, в гор. Кишиневе, не считая пятой загородной части, из общего количества 4149 домов повреждено 1350, т.е. менее трети. Всех еврейских лавок разгромлено около 500.

Подлинник за надлежащими подписями.
И. д. Судеб. След. (Подпись неразборчива).

ЭПИЛОГ

Несмотря на интриги и травлю еврейской прессы, на хроническое безденежье и все чаще повторяющиеся приступы сердечной болезни, Павел Александрович Крушеван героически продолжал „Знамя" до 1905 года, когда, наконец, вынужден был отступить. Тогда же прекратил свое существование и „Бессарабец". Но Павел Александрович не сдался. Он вернулся в Кишинев, отступил, так сказать, на заранее подготовленные позиции и основал новую газету — „Друг".

Кроме литературы он много сил отдавал общественной деятельности. Ему принадлежит честь быть основателем Бессарабского отдела Союза русского народа, он был избран депутатом Второй государственной Думы... Нелишне отметить, что в его газетах и под его несомненным влиянием начинал свою литературную и общественную деятельность ставший впоследствии весьма знаменитым бессарабский помещик Владимир Митрофанович Пуришкевич.

Павел Александрович умер внезапно, в своем рабочем кабинете, 12 июня 1909 года, во время беседы с одним из почитателей его таланта. Павел Александрович был весел, оживлен, сыпал остротами. Узнав, что собеседник читал все его книги, но не знаком с альманахом „Бессарабец", Павел Александрович стремительно встал из-за стола и подошел к книжному шкафу, чтобы снять с полки увесистый том в роскошном красном переплете. Он открыл шкаф, взял в руки книгу и вдруг — рухнул всем телом на пол... Пока нашли врача христианского исповедания, уже было поздно.

На следующий день газета „Друг" вышла с широкой траурной каймой, обрамляющей весь лист. В газете был воспроизведен портрет Павла Александровича и еще один снимок: Павел Александрович в гробу, усыпанный цветами.

В статьях-некрологах рассказывалось о жизненном пути Павла Крушевана, о его неподкупной честности и о его борьбе – словом, кое-что из того, что часто грезилось Павлу Александровичу, когда его посещали непрошенные мысли о смерти.

О Кишиневском погроме в траурном номере газеты не упоминалось, зато в особую заслугу Павлу Александровичу ставилось то, что он первым опубликовал разоблачающие всемирный еврейский заговор „Протоколы заседаний франмасонов и сионских мудрецов". В газете подчеркивалось, что даже „Новое время" напечатать эти Протоколы не осмелилось и сам фон Плеве согласия на публикацию не дал, однако Павел Александрович воспользовался моментом, когда Плеве уехал в отпуск, и добился разрешения цензуры. В отместку за это страшное разоблачение, говорилось дальше, евреи подослали к Крушевану убийцу, который ранил его ножом в Петербурге, на Полицейском мосту. В последнее утверждение, однако, вкралась неточность — то ли умышленная, то ли нечаянная, вызванная поспешностью, с которой готовились траурные материалы. „Протоколы сионских мудрецов" Крушеван опубликовал через два с лишним месяца, после покушения на него Дашевского, так что ими оно вызвано быть не могло.

„Трус! Презренный трус с цыплячьей душой и цыплячьей местью... Дрогнул! Все-таки дрогнул... Не смог... Поэтому над вами и издеваются, поэтому вас и убивают, что вы не умеете постоять за себя..." — мысленно повторял Пинхус, лежа на тюремной койке и глядя в грязный, потрескавшийся от постоянной сырости потолок своего каземата.

Вскоре к нему был допущен адвокат.

Высокий стройный человек средних лет, аккуратно, но неброско одетый, он вошел в камеру с широкой улыбкой на лице, излучая несокрушимую жизнерадостность. Крепко пожав поднявшемуся с койки Пинхусу руку и окинув его быстрым взглядом, он громко воскликнул:

— Почему мы так сумрачны, дорогой мой?! Наше дело стоит превосходно! — и зашагал из угла в угол длинными журавлиными ногами.

— На суде мы заявим, что первоначальное наше показание было дано нами в состоянии большого волнения и оно не соответствует действительности. Мы хотели нанести господину Крушевану лишь легкую рану, чтобы выразить протест его погромной агитации. Это все! Мы вовсе не собирались его убивать. Это очень важно. Мы легко убедим присяжных в нашей правоте, потому что располагаем вескими аргументами. Я видел нож, который будет фигурировать как вещественное доказательство. Он совсем маленький, с крохотным клинком. Револьвер, найденный при нас, мы в ход не пустили — это тоже говорит в нашу пользу. Ножом мы ударили только один раз, и, хотя наш противник даже не упал, вторично ударить мы не пытались. Дорогой мой! Так — не убивают!

Адвокат подошел к Пинхусу и положил руку ему на плечо.

— Итак, мы должны запомнить: намерения убить у нас не было. Только выразить протест! Остальное я беру на себя. Скорее всего, нас оправдают. А если признают виновным, то за легкое ранение без каких-либо последствий и без намерения убить, нас присудят к одному-двум месяцам тюрьмы. Это меньше, чем мы просидим до суда, так что в любом случае нас прямо на суде освободят из-под стражи.

Пока адвокат говорил, Пинхус все время смотрел на него, но, казалось, не видел, таким тусклым и безразличным был его взгляд.

— Вы напрасно беспокоитесь, — сказал он, наконец. — Я не изменю показаний.

— Но, дорогой мой! Так мы погубим себя! — воскликнул адвокат. — Мы должны изменить показания, от этого зависит наша судьба!

— Моя судьба мне неинтересна, — ответил Пинхус.

Адвокат решительно открыл рот, но, не найдя, что возразить, закрыл его и снова по-журавлиному зашагал по камере.

— Хорошо, дорогой мой, допустим, — сказал он через минуту, оставив деланно-бодрячески тон и вновь остановившись перед Пинхусом. — Допустим, что на собственную судьбу вам наплевать. Но тогда пожалейте мать! Пожалейте вашего друга Михаила Либермана: в вашей глупости он винит себя и, может быть, уже наложил бы на себя руки, если бы я не уверил его, что ничего серьезного вам не грозит. Еще девушка одна сильно о вас беспокоится. Очень интересная девушка. Маленького роста, с большими серыми глазами. Уверена, что виновата во всем она. Видите, дорогой мой, сколько желающих взять на себя вашу вину!

— Передайте, пожалуйста Мойше, чтобы он не волновался и изучал свои звезды. Вины его ни в чем нет — просто мы всегда с ним были очень разными. А Фриде скажите... скажите ей, что она во всем права: нам с ней не по дороге... Ну, а с мамой я объяснюсь сам, когда разрешат свидание.

Он помолчал, потом добавил:

— Я не изменю показаний, господин адвокат. Я хотел убить Крушевана и сожалею, что мне не хватило мужества исполнить мое намерение. Но мужества ответить за свой поступок без всяких уверток у меня хватит. Вот все, что я скажу на суде.

... По соображениям, которые запрещено обсуждать, высшей власти было угодно, чтобы дело Пинхуса Срулевича Дашевского слушалось при закрытых дверях. И превратилось в новый еврейский погром, только

теперь уже без пролития крови, идейный. Крушеван предъявил суду анонимные письма, которые получал будто бы от евреев с угрозами лишить его жизни, и подробно рассказывал о всех еврейских злодеяниях, учиненных за две тысячи лет, начиная с распятия Христа. Ему усердно помогал его гражданский истец Алексей Семенович Шмаков, считавшийся уже тогда крупнейшим в России специалистом по разоблачению еврейских заговоров, козней и злодейств. Суд не мешал обоим борцам с еврейским засилием развивать свои взгляды и внушать присяжным заседателям мысль о том, что всякий еврей — закоренелый злодей и преступник. Защитник Дашевского Миронов так растерялся, что даже не заявил и не потребовал внести в протокол протеста против этих нарушений закона, что лишало его возможности впоследствии подать обоснованную кассационную жалобу.

Когда прения сторон закончились и председатель суда задал вопрос присяжным заседателям, совершил ли подсудимый вооруженное нападение на Павла Александровича Крушевана с целью лишить его жизни, присяжные ответили:

— Виновен, но заслуживает снисхождения.

Снисхождение выразилось в том, что Дашевского присудили к пяти годам арестантских рот.

Кассационная жалоба была все же подана, и защищал ее уже не малоопытный Миронов, а один из самых выдающихся адвокатов того времени Грузенберг. Он предпринял отчаянную попытку спасти положение, но формальных поводов для протеста не имелось, и сенат приговор утвердил. Впоследствии, однако, Грузенберг не оставлял усилий добиться смягчения участи неудавшегося террориста, и Пинхус Дашевский вышел на свободу на полтора года раньше своего срока.

Он поступил в Киевский политехнический и блестяще его закончил. Как пораженный в правах, он учился почти нелегально, благодаря сочувствию ректора института, и, чтобы не подводить его, по окончании не стал

защищать диплома. Затем он долго работал простым рабочим в Нижнем Новгороде. Дальнейшие сведения о нем глухи и отрывочны. Сводятся они к тому, что после революции в России он работал инженером сначала в Маньчжурии (на строительстве железной дороги), а затем на Кавказе. В 1933 году он был арестован как сионист и вскоре умер в тюрьме...

Теперь коротко о других персонажах нашего повествования.

Что касается Вячеслава Константиновича Плеве и Михаила Осиповича Меньшикова, то оба они — известные исторические фигуры и сведения о них можно найти в любой солидной энциклопедии.

Однако, чтобы не заставлять читателя рыться в справочниках, укажу, что Плеве после описанных нами событий, прожил чуть больше двенадцати месяцев: 15 июля 1904 года он был убит в Петербурге взрывом бомбы, брошенной террористом-эсером Егором Созоновым. Меньшиков же еще много лет трудился на ниве российской словесности, приобретая все большую известность как публицист, умеющий совмещать проповеди христианской любви к ближнему с разжиганием национальной ненависти и призывами к еврейским погромам.

Другие два персонажа — Фрида и Мойша Либерман — как давно догадался читатель, вымышленные, и их дальнейшая судьба всецело в наших руках. Читатель вправе домыслить их жизнь по собственному усмотрению.

Но если понадобится помощь автора, то я скажу, что Мойша Либерман стал крупным ученым, создал свою научную школу и был окружен всеобщим почетом.

После Октября он стал одним из первых ученых, которые признали Советскую власть и стали активно

с нею сотрудничать. В годы гражданской войны Либерман испытал тяжелые лишения в голодном Петрограде. Он потерял жену и единственного сына, умерших от тифа.

В последующие годы профессора Либермана, как ученого с мировым именем, часто посылали за границу налаживать контакты с зарубежными коллегами. Он был в числе тех немногих, кто помогал Советской стране прорубать стену изоляции, которой ее окружили правители Запада.

В начале тридцатых годов профессора Либермана неожиданно подвергли резкой критике за идеалистические тенденции. Его научные труды, как оказалось, не свободны от влияния махизма и неопозитивизма, местами переходящего в откровенный агностицизм. Однако профессор Либерман не растерялся. На критику он ответил боевой принципиальной самокритикой. И чтобы окончательно доказать, что изжил всякие буржуазные изъяны в своем мировоззрении, выпустил фундаментальный труд: „Излучение солнца и звезд в свете марксистско-ленинской диалектики".

Работа встретила всеобщее одобрение — даже со стороны тех, кто еще недавно его критиковал. Профессора Либермана стали ставить в пример тем ученым, которые не торопились изжить оппортунизм и прочие идейные шатания. Учитывая выдающиеся заслуги профессора Либермана, его избрали действительным членом Академии Наук.

Фрида, как догадаться нетрудно, участвовала в революционных боях 1905 года, а потом эмигрировала из России. Она активно сотрудничала в зарубежных социал-демократических изданиях. В Париже она вышла замуж за видного деятеля партии. В спорах, раздирающих социал-демократию, она и ее муж поддерживали большевистскую платформу. После Февральской революции они вернулись в Россию и тотчас включились в работу по подготовке вооруженного восстания.

В годы гражданской войны Фрида дралась с белыми на южном фронте. Она участвовала в штурме Перекопа и в ликвидации махновщины.

В 1921 году она выступила в поддержку рабочей оппозиции, которая обвиняла руководство партии в отрыве от масс и буржуазном перерождении. Но партия разъяснила Фриде, что ее платформа есть не что иное, как анархо-синдикалистский уклон, вызванный воздействием на пролетариат мелкобуржуазной стихии. Фрида признала свои ошибки и публично разоружилась перед партией.

Ее ввели в руководство Евсекции РКП/б/ и направили в Минск на боевую работу по переустройству быта и сознания отсталых еврейских масс бывшей черты оседлости. Со всей присущей ей решительностью Фрида взялась за новое дело. Под ее руководством создавались партийные и комсомольские ячейки в еврейских местечках Белоруссии, где передовая молодежь вела борьбу против отсталой молодежи. Вместе с передовой молодежью Фрида вела наступление на хедеры и синагоги, она боролась за добровольную передачу синагог под клубы и дома культуры, за рабочую субботу — словом, за то, чтобы окончательно освободить еврейских трудящихся от духовного гнета религии и вековых предрассудков.

Большую роль в этом важном деле играли созданные Фридой духовые оркестры еврейского комсомола. В дни религиозных праздников оркестры с воодушевлением играли у входов и под окнами синагог бодрые революционные марши, стараясь заглушить голоса молящихся. Внутрь синагог оркестранты, однако, не входили, так как им полагалось щадить чувства верующих. Высшее руководство Евсекции разъяснило Фриде, а она — комсомольцам, что если они во время богослужения станут врываться в синагоги и таскать молящихся за бороды, то это будет лево-максималистский уклон, что иногда бывает даже хуже право-центристского уклона. Поэтому надо довольствоваться лишь тем, чтобы

скандировать под окнами:

Наш девиз всегда таков:
Долой раввинов и попов!

Высшее руководство Евсекции не раз постановляло, что безупречно правильная партийная линия, проводимая Фридой без уклонов вправо и влево, способствует скорейшему добровольному отходу еврейских масс от религии.

Подобные постановления наполняли фридино сердце чувством законной гордости, а также надеждой на то, что ее введут, наконец, в высшее руководство Евсекции, и она сможет заниматься перековкой еврейских масс в масштабах всей страны, а не одной Белоруссии. Кроме того, это означало бы переезд в Москву, где жить было много приятнее и интереснее, чем в захудалом Минске. Она знала, что высшее руководство Евсекции хлопочет за нее, но там, где решают подобные вопросы, всякий раз вспоминают про анархо-синдикалистский уклон.

К 1937 году работа по перековке еврейских трудящихся масс была в основном завершена. Евсекция стала ненужной, и ее ликвидировали. Заодно ликвидировали высшее руководство Евсекции, в которое Фрида, из-за давнего уклона так и не попала. На новом витке диалектической спирали, в полном соответствии с передовым учением, анархо-синдикалистский уклон, который так долго портил кровь Фриде, неожиданно спас ее.

Вслед за руководителями Евсекции был арестован и расстрелян муж Фриды. Но ей самой опять повезло: ее даже не выслали и не исключили из партии. Ее только лишили всех постов, а в качестве утешения дали бесплатную путевку в прекрасный санаторий на берегу теплого моря.

Случилось так, что в том же санатории лечил застарелый колит известный ученый Либерман.

Познакомившись с академиком, Фрида убедила его,

что прогулки в горы очень полезны при колите, и в одну из совместных прогулок они неожиданно выяснили, что когда-то давно, на заре туманной юности, имели общего друга.

Покопавшись как следует в памяти, они даже вспомнили, что встречались пару раз у адвоката, когда с другом случилась беда, происшедшая, впрочем, от его собственной глупости.

Это открытие сильно поразило обоих, и они вернулись из санатория мужем и женой, что вызвало зубовный скрежет у целой стаи секретарш и аспиранток, давно бросавших на вдовца-академика алчные взгляды.

Оставшись не у дел, Фрида, к собственному удивлению, увлеклась домашним хозяйством и превратила запущенную квартиру одинокого звездочета в блестящий салон, где бывали все самые интересные и знаменитые люди Ленинграда — писатели, художники, артисты, музыканты.

На время войны профессора Либермана вывезли из блокадного Ленинграда как особо ценный груз, а после войны ему поручили сверхсекретную работу, цель которой состояла в том, чтобы догнать и перегнать... Однако вскоре выяснилось полная непригодность академика Либермана к земным делам, так что его вернули на кафедру и в обсерваторию.

Борьба с безродным космополитизмом, развернутая со всей принципиальной бескомпромиссностью в конце сороковых годов, лишь слабой тенью коснулась супругов Либерман. Михаилу Исааковичу пришлось выступить на собрании и обвинить в низкопоклонстве перед Западом своих младших коллег — профессора Рабиновича, доктора наук Гуревича и члена-корреспондента Факторовича, после чего его собственное низкопоклонство ему не ставили в вину.

В 1950 году Михаилу Либерману исполнилось 70 лет, а его супруге — 72 года. До такого возраста редко доживают литературные герои, и я мог бы с чистой со-

вестью их обоих похоронить. Но мне почему-то представляется, что оба они обладали завидным здоровьем и долголетием.

После 1956 года у Либерманов началась новая жизнь. Фрида стала активным деятелем общества старых большевиков. Почти каждый день она встречалась с пионерами, выступала по радио, публиковала воспоминания о Ленине, из-за которых, однако, наталкивалась на неприятности, потому что иногда вспоминала о том, чего, по мнению визирующих инстанций, помнить не полагалось. Недоразумения, впрочем, быстро улаживались, потому что со времени участия в рабочей оппозиции Фрида приучилась доверять инстанциям больше, чем себе самой.

Мойша к этому времени стал терять зрение и не мог уже заниматься звездами. Но он не впал в уныние, а стал одну за другой надиктовывать книги об истории той науки, которая создавалась при его участии.

Особый интерес представляли те страницы, где он рассказывал о встречах с крупнейшими учеными двадцатого века: Эйнштейном, Бором, Фридманом, Эддингтоном... Книги его пользовались успехом, рецензенты хвалили их за обилие ценного материала, освещаемого с единственно верных позиций. И только редактор книг Либермана — приятная женщина средних лет — подписывая очередную рукопись академика в производство, тяжело вздыхала и говорила сочувствовавшим коллегам, что ей опять не миновать неприятного разговора с начальством, потому что в книге уважаемого автора слишком много еврейских фамилий...

В 1971 году, когда Михаилу Исааковичу Либерману был 91 год, а его супруге 93 года, они выехали на постоянное жительство в государство Израиль, где у них обоих оказались близкие родственники, существование которых они скрывали всю свою жизнь.

2.

РУССКИЙ ВОПРОС

(Владимир Галактионович КОРОЛЕНКО)

У сильного всегда бессильный виноват...

И.А. Крылов

В работе над повестью неоценимую помощь автору различными советами и библиографическими указаниями оказал крупнейший знаток биографии и творчества В. Г. Короленко Александр Вениаминович Храбровицкий, который, однако, не несет никакой ответственности за ее содержание. Выражаю ему благодарность.

С. Р.

ПРОЛОГ

9 февраля 1903 года в заштатном городке Дубоссары — пестром, утопающем в фруктовых садах на высоком левом берегу Днестра — исчез четырнадцатилетний мальчик Михаил Рыбаченко.

Отец мальчика умер несколько лет назад, мать Софья вторично вышла замуж и жила в восемнадцати верстах от города, в посаде Григореополь, а Миша воспитывался у дедушки Конона и бабушки Елизаветы — зажиточной крестьянской четы, имевшей свою усадьбу в предместьи Дубоссар под названием Большой Фонтан.

9 февраля было воскресенье. С утра долго и радостно звонили колокола, возвещая начало любезной народу масляной недели. Миша Рыбаченко, вместе со взрослыми и целой ватагой таких же, как он, ребятишек, отправился в церковь, расположенную у Базарной площади, в центре Дубоссар.

И домой не вернулся...

Под вечер обеспокоенный дед пошел справляться к соседям. Расспросив мишиных друзей, он узнал, что когда в церкви кончилась заутреня и народ высыпал на улицу, ребятишки побежали по большому спуску к Днестру „скользаться". Сначала мальчиков было много, но к обедне почти все вернулись в церковь. На реке остались только Миша да его двенадцатилетний приятель Гриша Степаненко. Когда зазвонили к „достойно" (минут через сорок после начала обедни), Гриша сказал, что надо бы идти и им. Миша ответил:

— Ты иди, а я еще поскользаюсь.

И Гриша ушел.

Он был последним, кто видел внука старого Конона.

Тревога деда и бабки росла. К ночи они уже почти не сомневались, что мальчик утонул в Днестре, где быстрая вода намыла немало промоин. Правда, еще теплилась надежда, что мальчик, не спросясь, отправился к матери в Григореополь, хотя такого своеволия никогда прежде он себе не позволял.

Утром послали к невестке, но вместо мальчика из Григореополя примчалась сама встревоженная мать. Последняя надежда рухнула. Едва переставляя ноги от усталости и горя, Конон Рыбаченко взял в полиции багры, позвал на помощь трех-четырех соседей и отправился на реку искать утопленника.

Соседи приняли большое участие в беде, столь внезапно свалившейся на дом старого Конона. Особенно сокрушалась некая Марья Барская, баба деятельная и жалостливая. Пока мужчины искали тело, она ни на шаг не отходила от бабки и матери мальчика и, видя, как они убиваются, сама готова была заголосить на всю улицу. Однако слезами горю не поможешь; Марья превозмогла себя и повела Елизавету да Софью к знакомой гадалке. За пять копеек гадалка раскинула карты и вмиг определила, что к ней пришли в связи с *пропажей*, что пропало что-то *живое*, что *пропажу* уже искали в воде, но не нашли. Карты показали также, что *пропажа* сама ушла со двора, что она где-то заперта и еще жива, ее надо искать и можно найти...

Женщины были потрясены. О том, что слух об их *пропаже* распространился по городу и мог дойти до гадалки, они, конечно, не подумали. Они бросились к реке и еще издали, размахивая руками и задыхаясь от возбуждения, стали кричать:

— Он не в воде! Он живой! Он заперт!

Настроение женщин тотчас передалось мужчинам. Они побросали багры и пошли в город, рассказывая всем встречным жуткую новость. И понеслась-покати-

лась по улочкам молва...

Поначалу глухой и неясный, слух с каждым днем обрастал подробностями. Говорили, что какая-то еврейская девочка на базаре во всеуслышание заявила, что мальчик спрятан „у наших евреев", но была остановлена старшей товаркой... Одному мальчику Миша явился во сне и просил передать дедушке и бабушке, что пока еще он живой, но ночью его будут мучить. Еще говорили, что русская девушка, служившая у евреев и понимавшая их язык, слышала, как хозяева говорили друг другу: „Ахун уже есть, взяли ахуна", а это будто бы означает, что они захватили „мученика". Передавали также, что один из товарищей Миши в день его исчезновения расстался с ним вовсе не на реке, а у лавочки еврейки Любочки, куда Миша зашел купить табаку и откуда уже не вышел; Любочка же после этого таинственным образом пропала вместе со своей лавочкой.

... На пятый день после исчезновения мальчика из села Устье, что на другом берегу Днестра, в Дубассары въехала крестьянская подвода. Поднявшись со льда на берег, крестьянин остановил лошадь и зашел в один из ближайших садов справить нужду. В углу сада кружила стая сорок. Подойдя ближе, крестьянин увидел нечто страшное.

До смерти перепугавшись, он перекрестился и бросился вон. Первой его мыслью было никому ни слова не говорить о виденном. Однако, поднявшись к Базарной площади и немного успокоившись, он все же сообразил, что молчать нельзя.

Выслушав мужика, городовой Осадчий посуровел лицом и, взобравшись на его подводу, велел поворачивать оглобли. В саду он деловито разогнал сорок, с помощью мужика погрузил на подводу мертвое тело и приказал ехать в больницу, а когда там тело не приняли, то в участок.

Пока труп возили по городу, к нему сбегалось множество любопытных. Вид убитого приводил всех в ужас.

Кроме увечий, нанесенных в момент убийства, на левой щеке трупа было пять кратеровидных ран и вместо одного глаза зияла дыра. Опытный следователь или медицинский эксперт с первого взгляда определил бы, что эти страшные повреждения причинены птицами, клевавшими мертвеца. Но для обывателей было ясно лишь то, что ,,христианин так зверски убить не может''.

— Это евреи! — мрачно гудела толпа. — Им на Пасху надобна христианская кровь...

После судебно-медицинского вскрытия полицейские власти попытались успокоить возбужденные толпы, объясняя, что нет никаких оснований считать это убийство ритуальным. Но толпа истолковала это по-своему. Высшему начальству поступил донос, в котором говорилось, что полицию подкупили евреи и что протоколу верить нельзя, так как вскрытие производил врач-еврей.

Прокурор Одесской судебной палаты А. Поллан (Дубоссары относились к Одесскому судебному округу) дал доносу немедленный ход. Преданное земле тело откопали и снова исследовали. На этот раз в качестве судебно-медицинского эксперта был приглашен христианин, специально доставленный из Тирасполя, и работал он в присутствии товарища прокурора из Одессы. Данные первой экспертизы подтвердились.

Окончательно отбросив ,,ритуальную'' версию, судебный следователь обратил внимание на запутанные отношения в семье Рыбаченко. Оказалось, что у старого Конона был еще один внук, двадцатидвухлетний Иван Тимощук, сын его покойной дочери. Старый Конон не любил Ивана и незадолго до убийства составил завещание, по которому все нажитое им имущество должно было отойти не к старшему внуку, а к младшему.

Ухватившись за эту нить, следователь вскоре выявил наиболее вероятных убийц Миши Рыбаченко: ими оказались Иван Тимашук, его отец Михаил, да еще некий Антон Тищенко – их сообщник. Вскоре Тищенко

признался в убийстве подосланному к нему сыщику. Однако слух о „ритуальном истечении крови" продолжал циркулировать в городке, и его подхватила кишиневская газета „Бессарабец", издававшаяся Павлом Александровичем Крушеваном.

Почти каждый день в газете появлялись сообщения из Дубоссар, которые противоречили друг другу, но согласно били по нервам возбужденных обывателей. То говорилось, будто следователем установлено, что на теле мальчика имеется восемнадцать ран, нанесенных каким-то желобовидным орудием, по которому стекала выпускаемая кровь; то ран оказывалось двадцать четыре; то вместо ран появлялись тонкие „наколы на жилах", а рот, нос и „все отверстия" оказывались зашитыми. Далее можно было узнать, что на запястьях рук мальчика видны следы веревок, из чего следует, будто его перед смертью распяли на кресте... И, наконец, возник молодой еврей Беккер, который громко кричал, что знает убийц, за что объявлен помешанным и упрятан в сумасшедший дом.

Получая регулярные сообщения о ходе следствия, прокурор Одесской судебной палаты А. Поллан знал, что Миша Рыбаченко был убит сильным ударом полена по голове, после чего убийца в остервенении исколол его вилами; что бóльшая часть крови мальчика пропитала одежду и землю в том месте, где найден труп, а меньшая часть излилась во внутренние полости тела, так что ни о каком „истечении" не может быть речи; что же касается Беккера, который бегал по улицам и выкрикивал бессвязные ругательства, то отправить его в сумасшедший дом распорядился полицейский пристав, а умалишенным его признали компетентные врачи.

Все это так разительно расходилось с собщениями „Бессарабца", что прокурор в конце концов направил конфиденциальное письмо Бессарабскому ґубернатору, в котором напоминал, что обсуждение неоконченных следственных дел в печати запрещено, не говоря уже о ложных измышлениях по поводу таких дел, и что

поэтому необходимо „принять меры к тому, чтобы такие тенденциозные и при том совершенно ложные сведения" не распространялись. Письмо возымело действие: „Бессарабец" вынужден был печатать опровержение. Однако уже после этого в столичном „Новом времени", перепечатывавшем все вымыслы „Бессарабца", появилась корреспонденция его собственного корреспондента из Дубоссар, в которой слухи суммировались и выдавались за достоверные сведения, добытые следствием. И затем — как отрезало. Всякое упоминание о Дубоссарском убийстве исчезло со страниц печати.

А через две недели в Кишиневе разразился еврейский погром.

Связь между этими двумя событиями была настолько очевидной, что даже через восемь лет, протестуя против новой ритуальной агитации (в связи с таинственным убийством в Киеве Андрея Ющинского), Владимир Галактионович Короленко писал:

„По поводу памятного убийства мальчика в Дубоссарах крушеванская газета в течение целых недель перед Пасхой развертывала перед населением ужасающие подробности истязания мальчика целой толпой изуверов-евреев. Все это тоже выдавалось за результаты следствия, и все это была самая гнусная и вполне сознательная ложь от начала до конца. Суд впоследствии опроверг эти выдумки... Да! Но между агитационной ложью и судебным решением легла кровавая кишиневская Пасха, полная ужасов, крови и позора".

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА

Его Высокопревосходительству
Господину Министру Юстиции.

Копия с представления Прокурора Одесского Окружного Суда Прокурору Одесской Судебной Палаты от 14 апреля 1903 года за № 3110.

Представляю Вашему Превосходительству копию анонимного письма за подписью „христианин", полученного мною по почте 9 сего апреля и относящегося по делу об убийстве Михаила Рыбаченко. Письмо это, как видно из почтового штемпеля, послано мне из Ревеля, и содержание письма указывает на то, какое широкое распространение получили неверные газетные известия по этому делу и какие инсинуации вызывают эти известия среди публики.

С подлинным верно —
Прокурор Одесского Суда. **Н. Левченко**

№ 3111.
14 апреля 1903 года,
г. Одесса.

Копия.

Для тех, которые относятся с предвзятым недоверием к чему-либо, самые убедительные факты не будут иметь в их глазах никаких доказательств. Так и по делу замученного мальчика Рыбаченко. Кажется ясен факт похищения крови из живого человека. Все констатированные данные убеждают в этом, а не в ином заключении, но... находятся такие, которые вместе с заинтересованными в отрицании существования у евреев тайных ритуальных обрядностей относятся и к последнему случаю ритуального убийства Рыбаченко с недоверием. Только за последние 25 лет это уже пятый ритуальный процесс. 1) В конце 70-х годов дело о распятии и похищении крови из 7-ми летней девочки Сарры Модебадзе в Сураме разбиралось в кутаисском суде. Обвинявшимися были сельские, бедные евреи, а между тем за одну только защиту их Петербургскому адвокату Александрову было уплачено 15 тыс. рублей. Кагал для оправдания этих дел своего фонда не жалеет. 2) В 1883 г. такое же ритуальное убийство в Венгрии Гефиры Шельмаше разбиралось в г. Нтрешгазе, причем свидетелем-очевидцем (в числе других) выступил сын (14 лет) еврейского резника, совместно с раввином выпускавшего кровь из убитой. 3) Четыре года назад был такой же процесс в Австрии, причем обвиняемый присужден к смертной казни. 4) В 1899 г. разбиралось такое же дело Блондеса — в Вильне. 5) Дело Рыбаченко. А сколько за это время осталось

неоткрытых, быть может, дел... За время же ранее этого периода, целая серия процессов и дел этого рода приведена в научном труде Лютостанского: „Об употреблении евреями талмудистами христианской крови при религиозных обрядах". В этом же описании пояснены и поводы к тому, почему евреи не зарывают своих жертв — дабы прятать убийства, а подкидывают их, чтобы погребали христиане. Впрочем, и в описании Серно-Соловьевича г. Слуцка, Минской губернии, обстоятельно пояснено о замученном жидами 6-ти летнем отроке Св. мученике Гаврииле, мощи которого находятся в Слуцком монастыре. Если бы судебная власть по делу Рыбаченко действовала бы правильно, то она сразу должна бы была задержать обеих женщин: свидетельницу и владелицу лавки, где схватили мальчика, а также и свидетеля еврея, а не дожидаться пока первые две скроются, а последнего опоят каким-то дурманом до потери разума. Тут видно одно из двух: или г. г. судейские чиновники не умеют делать расследования, или уж кагальские денежки для них соблазнительны. Да и в суде еще это дело „шило на мыло сведут", подобно кутаисскому процессу. Бог и совесть требуют, чтобы жид хозяин дома, в лавке которого задержали мальчика, а также местные районные раввин и резник еврей, которые суть первые действующие лица ритуальных драм, — чтобы они были непременно задержаны и строго, как следует допрошены: они здесь главные виновные. Неужели и это дело замнут? Господи!

Христианин.

С подлинным верно:
Прокурор Одесского Окружного Суда **Н. Левченко**

12 апреля 1903 г.,
г. Одесса.

Глава 1

Владимир Галактионович не видел, как убивали Гриншпуна.

Но он видел девочку, которая видела.

Девочке было лет десять-двенадцать — так он определил по ее росточку, по худенькой детской фигурке на тонких ножках. Однако, заглянув в ее глаза, встретил взгляд пожилого, бесповоротно сломленного человека.

Ее глаза видели, как убивали Гриншпуна.

Мотель Гриншпун был стекольщиком. Высоким, крепким, еще не старым, с начавшей седеть бородкой и сильными жилистыми руками. От него вкусно пахло оконной замазкой. Встречая девочку во дворе, он улыбался и гладил ее по волосам заскорузлой шершавой ладонью. На широком кожаном ремне, перекинутом через плечо, он носил плоский ящик из некрашенных досок. В ящике поблескивали стекла, переложенные абрикосовой стружкой. Гриншпун ходил по городу и громко выкрикивал:

— Окна вставляю! Окна вставляю!

Редко кто нуждался в его услугах, и он возвращался по вечерам с мелкими грошами, а то и вовсе без выручки... Эх, теперь-то у него отбою бы не было от заказов!..

— Вон там, под навесом они его и убивали, — тихо говорит девочка и протягивает тонкую руку.

Голос ее обрывается, судорога перекашивает лицо.

— Вон там, — повторяет она, — где пятно. Он бежал

сюда, а они за ним. А потом он упал, и они все вместе его убивали...

Под навесом выделяется бесформенное бурое пятно; в нем засохли осколки стекла, кирпича, опилки, клочья грязного пуха... И Владимир Галактионович ясно представляет себе всю эту до чудовищности нелепую картину: как мелкой рысцой, втянув голову в плечи, бежал от сарая насмерть перепуганный Гриншпун; как сочилась меж пальцами густая алая кровь, которую он пытался остановить, зажимая рану рукой; как нагнали его преследователи, сбили с ног, навалились, с веселым гиком устроили кучу-малу... и как из какого-то укрытия расширенными глазами смотрела на все это маленькая девочка, не имея сил оторваться и до боли кусая костлявый свой кулачок... Теперь э т о в ней навсегда. Э т и м полны ее тревожные сны, об э т о м она будет рассказывать детям и внукам.

Он слушал грустный рассказ девочки, и острое чувство вины терзало его, словно он сам добивал Гриншпуна вместе с озверевшей толпой.

Несколько лет назад Владимир Галактионович написал небольшой рассказ „Необходимость", в котором попытался выразить свое понимание вековечной проблемы, о какую разбивались все философские и религиозные учения.

Бог всеведущ и всемогущ — такова основная догма любой религии. Если так, то и поступки людей заранее предусмотрены Всевышним, то есть человек действует не по своей воле, а по воле Бога; потому человек не несет ответственности за свои поступки. Но тогда нет греха и нет воздаяния за грехи, а без этого лишается смысла сама религия. Не лучше и противоположное учение, по которому миром управляют естественные законы природы, ибо из него следует то же самое: поступки человека, как все в природе, обусловлено естественными законами, свободная воля — это только иллюзия.

В рассказе два индийских старца, стремящихся постичь Божественную истину и совершивших ради этого множество подвигов, являются в заброшенный храм, усаживаются перед идолом, предаются долгому созерцанию, и когда они уже почти окаменевают от неподвижной сосредоточенности, идол открывает уста и сообщает, что все в мире совершается по законам Необходимости. Даже приход старцев в заброшенный храм предусмотрен высшим предначертанием, где точно учтено, сколько должно быть подвижников и какие именно подвиги должны быть ими совершены. В том, что делают люди на Земле, нет ни их заслуги, ни их вины, потому что все совершается по законам Необходимости.

Однако в тот самый момент, когда оба старца, постигнув Истину, должны окончательно превратиться в каменные статуи (это тоже предусмотрено Необходимостью), они сознают, что обмануты. Законы необходимости — это законы статистики. Они охватывают цифры, но не живые человеческие души. Необходимость распоряжается лишь количествами. Она знает, сколько праведников и сколько злодеев должно быть на Земле, сколько аскетов и сколько чревоугодников, сколько мудрецов и сколько тупиц. Но она не указывает, кому быть праведником, а кому злодеем, кому совершить подвиг, а кому подлость, кому проливать кровь, а кому врачевать раны. В каждый момент своей единственной и неповторимой жизни человек сам выбирает, как ему поступить, и потому несет ответственность за каждый поступок.

Самое сокровенное вложил Владимир Галактионович в этот рассказ, многое в себе самом понял, пока его сочинял.

Когда народовольцы убили Александра Второго и на престоле воцарился его сын Александр Третий, Владимир Короленко отбывал ссылку в Перми. На улице его остановил полицмейстер и вручил бумагу, сказав, что по велению губернатора ему надлежит

подписать присягу на верность новому государю. Взяв текст присяги, Владимир Галактионович тотчас отправился к губернатору.

— Скажите, ваше превосходительство, вы от всех требуете таких сепаратных присяг?

— Нет, конечно, на это не хватило бы времени.

— Значит, это требование относится ко мне, как к ссыльному? И именно потому, что я потерпел бессудное насилие, что моя семья без всяких причин рассеяна по дальним местам, что я видел слишком много такого же насилия над другими? Ну, я и отвечаю: присяги я не приму.

— Подумайте хорошенько, — ответил доброжелательный губернатор. — Зачем вам губить свою молодую жизнь?..

Времени для раздумий оказалось достаточно, Владимир Галактионович успел множество раз перебрать все доводы против безумного поступка. Донкихотство... Мальчишество... Каким страшным ударом для матери и сестры будет известие о новых гонениях... А польза? Никакой! Массового движения „неприсяжников" ожидать нельзя, а два-три таких же чудака если и найдутся, то кто на них обратит внимание!? И вдруг сам собой пришел в голову вопрос: почему же, вопреки столь ясным доводам разума, я все же колеблюсь, но нисколько не колебался, когда говорил с губернатором? Вопрос содержал в себе и ответ: первое побуждение было правильным — не потому, что от этого может быть какая-то польза, а потому что его подсказала совесть. Делай что должно, и пусть будет что будет, гласит французская пословица. Узнал ее Владимир Галактионович много позднее, но заключенная в ней мысль с юности стала как бы его девизом.

Отдельному человеку трудно повлиять на общее количество совершаемого в мире зла и добра — это царство цифр, то есть Необходимости. Но за каждым остается право занять то или иное место в борьбе добра со злом. И в том, какое место человек для себя

выбирает, состоит его суть как человека.

Стоя во дворе разгромленного дома, Владимир Галактионович мог с чистой совестью сказать, что ему не в чем себя упрекнуть. Он мог бы привести в свою пользу неотразимые доводы. Но живое чувство сильнее холодных рассуждений. Полные недетской тоски глаза девочки говорили ему, что он тоже виноват перед нею, виноват уже тем, что в тот страшный день, когда убивали Гриншпуна, он был далеко и не мог вместе с этой девочкой испытать весь обрушившийся на нее ужас.

В те дни он был дома, в Полтаве, у него на руках умирала мать.

Болела она давно, врачи находили горловую чахотку, но он все надеялся, что это ошибка. Зимой он верил, что придет весна, и ей станет лучше; но пришла весна — как по заказу, бурная, солнечная, почти жаркая, а старушка продолжала угасать. Добрый друг Федор Дмитриевич Батюшков прислал из Петербурга большое черное кресло на колесиках, и оно оказалось очень кстати. Каждое утро Владимир Галактионович поднимал легкое тело матери, бережно укладывал его в кресло и вывозил в сад, необычайно рано распустившийся и дававший уже много тени. Девочки устраивались возле бабушки с рукоделием, да и сам он выносил из дома рукописи, перо, чернильницу и садился чуть поодаль, за отдельным столом, чтобы хоть молчаливым присутствием скрасить ее страдания.

Как всегда, было очень много неотложной работы. Надо было редактировать материалы для очередного выпуска „Русского богатства". Надо было просмотреть корректуру книги уральского казака Хохлова, совершившего с двумя товарищами изумительное путешествие в поисках справедливого Беловодского царства, которое, по староверческому преданию, существует где-то далеко на Земле. Малограмотная, но своеобразная по языку и содержанию рукопись была проредактирована Владимиром Галактионовичем и выходила

с его предисловием; он чувствовал себя ответственным за нее. Надо было еще завершить рассказ из сибирской жизни, который он обещал для сборника, издававшегося в пользу Высших женских курсов...

А мысли путались, возвращались к стоящему под раскидистым деревом черному креслу на колесиках; и вся жизнь матери всплыла перед ним, и навертывались на глаза предательские слезы.

Ее выдали замуж совсем девочкой, так что первый год после замужества она еще жила у отца. Муж был намного старше и мучил ее беспричинной ревностью; уезжая по своим судейским делам нередко запирал на ключ, и она — полуженщина, полуребенок, плакала от огорчения и обиды.

Первое ее дитя умерло в младенчестве...

Потом мужа разбил паралич и он стал калекой...

А потом, когда стерпелось-слюбилось, она осталась вдовой...

А когда выросли дети, начались обыски, аресты, полицейский надзор, скитания по ссылкам, куда она с готовностью отправлялась вслед за детьми.

В ее преданности, в ее готовности отдать всю себя ни разу не пришлось усомниться. И в предверии вечной разлуки (о близости ее она, к счастью, не догадывалась) бремя огромного неоплатного долга давило Владимира Галактионовича даже сильнее, чем сам ф а к т, надвигавщийся с такой страшной неотвратимостью...

Она скончалась ранним утром 30 апреля — тихо и спокойно, словно заснула... После похорон было много хлопот с оградой, с заказыванием памятника. Все надо было сделать тщательно, хорошо, лично участвуя. Мертвой ничего уже не было нужно, но нужно было ему, оставшемуся жить. Хлопоты создавали некоторую иллюзию возврата хоть малой доли того тяжкого долга, который он не сумел и никогда уже не сможет оплатить...

Однако, пока тянулись эти заботы, такие важные и необходимые, существовала в нем, жила, росла, ни на

минуту не оставляя, еще и другая боль — такая же острая и саднящая, но и совсем иная: несмиримая, рождавшая не печаль и грусть, а гнев и стремление к действию. Боль эта намертво была скреплена со ставшим вдруг зловещим словом — КИШИНЕВ.

... Где-то, на самом дне памяти таился слабый, почти совсем стершийся след давнего детского воспоминания — поездки в Кишинев к деду.

Самого деда он не помнил и тщетно старался вызвать в воображении забытое лицо. Город тоже не оставил в памяти никакого конкретного отпечатка, кроме смутного и неясного следа чего-то шумного и солнечного. Помнилась только поездка, вернее два эпизода из нее...

Первый — это переправа через реку на большом плоту: на нем поместились коляска, лошади и пассажиры. Было страшно и чуточку жутко наблюдать, как берег отделяется от коляски темной, все уширяющейся полосой, чувствовать плавное колыхание плота на волнах, видеть, как справа, слева, спереди, сзади переправляются на маленьких плотиках солдаты какого-то военного отряда. Солдаты со своих плотиков с любопытством поглядывали на коляску и о чем-то переговаривались...

Второй эпизод случился вечером, в темноте, когда он сидел в коляске на теплых материнских коленях и вдруг увидел красную точку, то разгоравшуюся, то тускневшую перед ним на расстоянии вытянутой руки. Он потянулся к светящейся точке. Мать перехватила маленькую ручку, сказала что-то предостерегающее, но ему так сильно хотелось потрогать звездочку, что он захныкал. Из темноты наклонился отец и приблизил звездочку. Мальчик коснулся ее указательным пальцем и тотчас отдернул руку. Не столько резкая боль ожога, сколько обида захлестнула маленькую душу, исторгла громкие рыдания. Словно он потянулся к благоухающему цветку, а из его чрева вынырнула и впилась в палец змея... Сходное чувство вызвало в нем первое

купание в реке, приманившей прохладой прозрачных струй и ожегшей резким холодом. Он бросался в окружающий мир с радостью и доверием; таящиеся опасности не были ведомы ему. И стихийное безразличие мира оборачивалось порой коварством и вероломством.

Став старше, он начал понимать, что в природе нет осознанного зла... Ее удары невольны и слепы. Человек — часть природы, и если ему приходится пострадать от нее, то из-за собственной неосторожности или какой-то роковой случайности. Сердиться на это нелепо. Протестовать — глупо. Винить — некого, кроме самого себя. С естественным ходом природы необходимо мириться. Даже со смертью старушки-матери приходилось мириться как с печальной необходимостью, ибо это всего лишь проявление естественного хода природы, как восход и заход солнца, как цветение яблонь по весне и созревание плодов к осени, как сама жизнь, чье постоянное обновление невозможно без увядания и смерти... Даже в счастливой стране Беловодии (если бы такая вправду отыскалась на Земле) никому не определено жить вечно. Не эликсира бессмертия искали три уральских казака, проделавших свой удивительный путь через Палестину в Китай и Японию. Они искали страну, где правит справедливость и человек не обижает человека. Не ту же ли Беловодию искал всю жизнь и сам Владимир Галактионович? Только, в отличие от казаков, он знал, что счастливой страны нет и за далекими морями, ее нужно самому воздвигать в себе и вокруг себя.

... Пока он молча перешагивал через груды неубранного хлама, а затем тихо разговаривал с неожиданно возникшей перед ним девочкой, во дворе собралось с десяток людей самого разного возраста. Согнутый пополам старик с клюкой и в галошах на босых отечных ногах, пожилая еврейка в рваном переднике, двое мужчин и женщина средних лет, молодая девушка, несколько ребятишек. Все они оказались бывшими

жильцами двухэтажного дома, похожего теперь на мертвый, разбитый о скалы корабль. После погрома они приютились поблизости, кто где мог, и, увидав человека, интересующегося их бедой, потянулись к нему, побуждаемые стремлением еще раз выплакать свое горе.

В первый день погрома здесь было тихо. Евреи сидели запершись и боялись. Они молились Богу, прося простить им грехи и отвратить несчастье. Поздно вечером громилы угомонились; казалось, Бог внял молитвам. Но на другой день погром разразился с новой силой.

Когда толпа обступила дом, Гриншпун юркнул в сарай, где надеялся найти свою жену Бетю, которая вдруг куда-то исчезла. Но Бети в сарае не оказалось. Был сосед Говший Бернадский с дочерью Хайкой и Мовша Махлер (Короленко в очерке назовет их не совсем точно: Бурлацким и Маклиным), а Бети не было.

Махлер был хозяином этого восьмиквартирного дома. Семь квартир он сдавал в наем, а в восьмой жила его старшая дочь Лея с мужем и годовалым ребенком. Сам Махлер жил на Александровской улице, в центре города, в маленьком аккуратном особнячке, какой дай Бог иметь каждому. Жил он там с женой Рисей, сыном Йосей, которому всего месяц как исполнилось тринадцать лет, и второй дочерью Рахилью, совсем еще девочкой. С ними еще жила старая Ида, мать Риси, но она давно уже не вставала с постели.

Особнячок стоял неподалеку от Чуфлинской площади, где все началось, так что погром Махлер пережил еще накануне. Его лавочку, что была при доме, разнесли в щепки, но семья, благодарение Богу, не пострадала. Собственно, благодарить надо было не Бога, а надежные ворота в крепком заборе, которые Махлер вовремя успел запереть, да металлические жалюзи на окнах. В таких домах жили многие евреи, имевшие средства, и Махлер тоже построил себе такой дом.

Рися была недовольна: зачем такой забор, зачем эти железные жалюзи? Неужели не на что тратить деньги, если так уж хочется тратить! Махлер и сам не понимал, зачем ему эти бастионы. Просто он хотел, чтобы все видели, что он не какой-нибудь полуголодный сапожник — умеет жить не хуже людей.

И когда сквозь щели в опущенных жалюзи он смотрел на беснующуюся толпу, то благодарил Бога, что не соблазнился возможностью кое-что сэкономить на постройке.

То, что он лишился лавочки, Махлера не огорчало. Если Богу угодно, чтобы он потерял лавочку, так неужели он будет роптать на Бога? Пока голова на плечах и руки-ноги на месте, умный человек может восполнить любую потерю. Махлера беспокоило совсем другое. Неизвестность того, что делается там, на окраине, в Азиатском переулке, — вот что его беспокоило. Старшую дочь Лею он любил больше других детей, особенно с тех пор, как она родила ему внука — капризного упитанного карапуза. Нельзя было доставить большего удовольствия Махлеру, чем сказать, что внук похож на него „как две капли воды". Слыша такие слова, Махлер таял от счастья и даже соглашался подождать с квартирной платой...

Сквозь щели в жалюзи он вглядывался в орущие, перекошенные злобой полупьяные лица и молча ломал себе пальцы. Ему представлялись картины одна ужаснее другой. То чьи-то руки вырывают у Леи плачущее дитя, а Лея отчаянно тянет ребенка к себе... То, поверженную на пол, ее бьют и топчут коваными сапогами, а малыша разрывают на части... Махлер гнал от себя эти видения, но они не уходили, наполняя его липким страхом.

Ночь он провел без сна, а утром, прикрикнув на жену, не хотевшую его отпускать из дому, побежал к дочери. Извозчиков нигде не было, видно, попрятались после вчерашнего, и ему пришлось добираться пешком. Чем ближе он подходил к Азиатскому переулку, тем

ему становилось тревожнее; однако еще издали он увидел свой дом, возвышавшийся среди вросших в землю лачуг, и у него сразу отлегло от сердца. Дом стоял целый и невредимый, даже стекла не были выбиты и отсвечивали на утреннем солнце.

Дочь свою Махлер не застал. Жильцы объяснили ему, что она так же тревожилась о нем здесь, как он о ней — там; совсем недавно, с мужем и малышом, она ушла, чтобы быть со своими.

Махлер хотел возвращаться, но жильцы засыпали его вопросами, и он, горячо жестикулируя, стал рассказывать о том, что перевидал и перечувствовал накануне.

Когда он кончил, уходить было поздно: появившийся вдруг городовой советовал всем спрятаться и сидеть тихо.

... Прильнув к щели в стене легкого дощатого сарая, Махлер хорошо видел, как уверенно работают громилы, успевшие уже приобрести сноровку. В доме высаживали окна, срывали рамы и двери, разворачивали кирпичные печи, отчего в зияющей черноте проемов клубилась бурая пыль; мебель и посуду вышвыривали на улицу. В сарае каждый раз вздрагивали от звона разбиваемого стекла и треска лопающегося дерева. Двор был завален разодранным шмотьем, втоптанными в грязь листками из священных книг, и пух, белый пух летал по воздуху, цепляясь за ветки чахлых деревьев, высоким сугробом грудился во дворе.

Наблюдая за тем, как уничтожается дом, который кормил его и его семью много лет, Махлер горячим шепотом благодарил Бога за то, что дочь его и внук вне опасности. Конечно, у него не могло быть уверенности в том, что они успели укрыться за спасительными жалюзи и могучим забором. Но с каждой минутой уверенность в этом почему-то крепла. Вчера он потерял лавочку, а теперь на собственных своих глазах из состоятельного, почти богатого человека окончательно превращался в нищего. Это что-нибудь значило! Не мог же

Господь быть настолько жестоким, чтобы разом отнять у человека и все его достояние, и дочь с внуком. Ну, а за дочь и внука Махлеру не жаль отдать все богатства мира, не то, что свое жалкое имущество.

Обо всем этом Махлер рассуждал шепотом, обращаясь то ли к Богу, то ли к самому себе, и те, кто находился в сарае, слышали эту своеобразную полумолитву.

— А как вы думаете, ведь они успели? Они вне опасности? — подбежал вдруг Махлер к отцу и дочери Бернадским.

Почти спокойные и ко всему безучастные, они неподвижно сидели у дальней стены сарая, на куче сваленного хлама, тесно прижавшись друг к другу и молча провожая глазами Гриншпуна, который метался из угла в угол, схватившись за голову. Как по каманде, они перевели взгляд на перекошенное лицо Махлера, на котором даже в полумраке сарая была видна борьба отчаяния и надежды, и, не сказав ни слова, снова стали следить за бегающим Гриншпуном.

... Мотель помнил, что Бетя стояла рядом с ним, когда они слушали рассказ Махлера о вчерашнем, и вдруг она куда-то исчезла. Он обежал все квартиры, потом выскочил во двор, громко крича: „Бетя! Б-е-е-т-я!

„Б-е-т-я!" — передразнил голос из толпы, и большой камень пролетел у Гриншпуна над плечом, едва не задев голову.

Гриншпун бросился в сарай, но не нашел жену и здесь. Бежать куда-нибудь дальше было уже невозможно, и он, не находя себе места, метался из угла в угол, потому что сквозь крики толпы, треск и шум разрушения ему то и дело слышались вопли и казалось, что это вопли его жены Бети.

Когда громилы ворвались в сарай, первым они увидели Гриншпуна. К нему подбежал молодой парень, молдаванин. Его звали Кириллом.

Мотель хорошо знал этого паренька с узкими глазами. Кирилл жил напротив и вырос у него на глазах. Бетя дружила с матерью Кирилла и часто заходила к ней занять какую-нибудь мелочь или просто посудачить. Когда Кирилл был маленьким, Бетя, обделенная собственными детьми, часто ласкала мальчика, тискала его, брала на руки. Мотель тоже любил повозиться с малышом: учил лепить зайчиков из размятой в горячих пальцах оконной замазки.

— Кирику! — обрадовался Гриншпун, ты не знаешь, не у вас ли моя Бетя?

Вместо ответа Кирилл схватил Гриншпуна за грудки.

— Пусти меня, Кирику, — попросил Гриншпун.

— Молчи, жидюга, все одно тебя убью, — Кирилл дохнул на Гриншпуна вонючим перегаром и саданул его ножом.

В первый момент Мотель не почувствовал боли и нисколько не испугался, а только очень удивился, но затем бросился вон из сарая, роняя на землю крупные алые капли. Под навесом его нагнали, сбили с ног... Теперь об этом напоминало лишь большое бурое пятно с присохшей грязью.

— Дай Бог так жить, как хорошие были соседи, — вздыхает пожилая еврейка в рваном переднике, и Владимир Галактионович догадывается, что она и есть та самая Бетя, которую тщетно искал перед смертью стекольщик Гриншпун.

— Где же вы прятались?

— У нее и пряталась, чтоб ей провалиться сквозь землю прежде, чем она родила этого злыдня.

Пока с веселым гиком убивали Гриншпуна, Махлер и Бернадские успели взобраться на чердак. Но громилы полезли за ними и на чердак. Тогда они выбрались на крышу. Но громилы тоже выбрались на крышу. Тогда они стали убегать от них по крыше.

Был яркий солнечный день. Редкие облачка невесо-

мо скользили по весеннему небу. Это был один из первых ясных дней после ненастья, старательно смывавшего моросящими дождями с крыш прошлогоднюю грязь. Свежевымытая крыша так и сияла на солнце красной черепицей.

А перед домом гоготала толпа.

Городовой сидел на тумбе и с любопытством следил за происходящим. Патрули стояли выше и ниже переулка, словно бы охраняя громил. Городовой и патрули ничего не имели против евреев, но они не получили указаний и законно бездействовали.

А Мотель Гриншпун, уже бездыханный, лежал под навесом в луже собственной крови и еще два еврея и одна еврейка, жалкие, с животным страхом в глазах, смешно балансируя раскинутыми руками, перебегали по крутой красной крыше, то скрываясь за ее гребнем на том скате, что спускался во двор, то, к радости толпы, появлялись на этом, видном с улицы.

Один из преследователей бросал им под ноги большой умывальный таз. Таз весело звенел по черепице. Евреи спотыкались, раздирая колени и руки.

А толпа гоготала.

Громилы не торопились кончать дело — растягивали удовольствие. Ну, а когда надоело, посбрасывали евреев с крыши. Всех троих. И старика Бернадского. И дочь его Хайку. И маленького подвижного Махлера. Только таз бросить вслед позабыли. Владимир Галактионович видел его: большой синий таз на красной черепице.

Мужчины разбились насмерть.

То есть не сразу — насмерть.

Про Махлера определенно говорили, что он был еще жив. На него вылили бочонок вина, и он захлебнулся в луже.

А Хайка угодила в целую гору пуха, прибитого ветром к стене, и осталась жива. Видно, Богу угодно было подстелить под нее пух...

О, этот пух, смех и грех еврейских погромов!

Они всегда начинали с вспарывания перин, пух ле-

тел по городу, еврейки визжали и кричали „гвалд". В этом была потеха.

Вначале они выпускали еврейский пух, а в конце — еврейский дух. Но до конца доходило редко. Владимиру Галактионовичу невольно приходило на ум сравнение: он знал, что во время страшной волны погромов восьмидесятых годов были лишь отдельные случаи убийств и тяжелых увечий. И вот, через два десятилетия, когда казалось, что весь этот срам навсегда ушел в прошлое, побоище, какого не видывали в России.

Почему?.. Зачем?.. Как могли это допустить?.. Как мог он, Владимир Короленко, допустить такое?..

Время подвигалось к полудню. Зенитное солнце сильно укоротило тени, от каменных стен разгромленного дома несло жаром, словно от натопленной печки, становилось трудно дышать. За воротами стояла понурая кляча, изредка отгонявшая мух ленивым взмахом хвоста. Недвижно, словно уснувший, сидел на облучке согнутый старый еврей в потрепанной широкополой шляпе и выгоревшей рубахе. Пасмурная печаль лежала на всем его облике, словно он вобрал в себя вековое горе своего народа. Николай Петрович Ашешов неторопливо прогуливался по улице — он приехал сюда вместе с Владимиром Галактионовичем, но остался за воротами, чтобы не мешать его беседе с людьми, с которыми сам встречался не раз. А Владимир Галактионович все стоял во дворе в окружении этих несчастных людей, уже свыкшихся со своим горем, и слушал, слушал их бесконечную повесть, время от времени задавая вопросы и делая пометки в записной книжке.

Последним здесь погиб бухгалтер Нисензон.

Он и его жена спрятались в погреб, но, слыша вопли и стоны, они не выдержали и выбежали на улицу. Это была ошибка. Нисензон успел скрыться во дворе напротив, но за женой его погнались. Он кинулся к ней и этим обратил на себя внимание. Жену оставили, побежали за мужем.

Догнали, ударом по голове сбили с ног, и он упал

в лужу. Его со смехом пополоскали в грязи, а потом добили увесистым колом.

Владимир Галактионович записал данные о материальном положении обитателей дома № 13. Приказчик галантерейной лавки Бернадский зарабатывал 48 рублей в месяц. Бухгалтер Нисензон нанимался временно к разным лавочникам и купцам: ставил бухгалтерские книги, заводил денежную отчетность; вырабатывал по 25-30 рублей. Мовша Паскер, приказчик, получал рублей 35. Ицек Горвиц был служителем в больнице, но лишился места и последнее время бедствовал. Мовша Туркенец имел крохотную столярную мастерскую. Бася Барабаш продавала евреям кошерное мясо... Нефтул Серебрянник имел небольшую лавочку, помещавшуюся здесь же, в доме; он торговал свечами, мылом, спичками, керосином, дешевыми конфетами, доход его был копеечный. И каждому приходилось содержать семью из трех, четырех, шести человек. Данные эти Владимир Галактионович взял из исковых заявлений, в которых пострадавшие, надеясь на возмещение ущерба, могли преувеличить свои доходы, но никак не приуменьшить.

Попрощавшись, наконец, с людьми, так доверчиво поведавших ему о своих несчастьях, Владимир Галактионович, тяжело ступая, вышел за ворота.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА

Директор Департамента Полиции. *Конфиденциально*

Его Превосходительству А.И. Поллану.

Милостивый Государь Анатолий Иосифович.

Мною получены сведения, что после еврейского погрома в г. Кишиневе туда посылаются еврейскими обществами других

городов делегаты для выяснения лиц, потерпевших во время беспорядков и нуждающихся в материальной помощи. Этими делегатами, будто бы, установлено между прочим, что на Скулянской рогатке, в сарае колесника Ходкевича было убито четверо лиц и изнасилованы три женщины, а в их числе 70-летняя старуха и внучка ее, тринадцатилетняя девочка, у которой были сорваны верхние покровы нижней части живота. Девочка эта, будучи доставлена в больницу, умерла через три дня, не приходя в сознание. В виду изложенного имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать сообщить, на основании имеющихся в Вашем распоряжении следственных материалов по делу о еврейских беспорядках в Кишиневе, является ли вышеприведенный факт справедливым и, в утвердительном случае, какими он сопровождался обстоятельствами. Примите, Ваше Превосходительство, уверения в совершенном моем почтении и преданности.

Подлинное подписал **А. Лопухин.**

С подлинным верно:
Секретарь при Прокуроре Одесской Судебной Палаты
(подпись).

№ 5585.
10 июня 1903 г.

* * *

Прокурор Одесской Судебной Палаты. *Конфиденциально*

Его Превосходительству А.А. Лопухину.

Милостивый Государь Алексей Александрович.

Вследствие письма от 10 июня сего года за № 5585 имею честь сообщить Вашему Превосходительству, что я 17 июня лично рассматривал в Кишиневе оконченное и направленное с обвинительным актом следствие об убийстве Хацкелевича и др.

По этому делу видно, что в сарае кузнеца Хацкелевича, (а не колесника Ходкевича) 7 апреля сего года были убиты Дувид Хацкелевич, Симха Вулер, Этля Бергер (55 лет) и Фейга Вулер (13 лет). Последняя была доставлена в больницу и действительно умерла через три дня, не приходя в сознание. В деле нет решительно никаких сведений и указаний относительно изнасилования Бергер и Вулер. Из акта вскрытия видно, что Вулер умерла от нанесенных ей ран в голову. Несмотря, однако же, на эти обстоятельства, я лично произвел негласное дознание и расспрашивал девочку Двойру Хацкелевич, Ханну Вулер и Абрама Сигаловича, причем первая заявила, что она сама была в сарае, когда ударили Вулер и Бергер, и всю ночь до рассвета лежала под Фейгою Вулер, причем никто не покушался ни на изнасилование Вулер, ни на изнасилование Бергер. Сестра убитой, Ханна Вулер, объяснила, что она посетила Фейгу несколько раз в больнице, причем никаких ран на животе у Фейги не было. Абрам Сигалович объяснил, что когда он, на следующий день после разгрома, был в сарае Хацкелевича, то он видел Фейгу Вулер, которая лежала с обнаженным и окровавленным животом. По мнению свидетеля, живот Фейги был окровавлен, так как кровь текла из ран, нанесенных ей в голову. Об изнасиловании Бергер и Вулер свидетель ничего не слышал. В том же сарае и в тот же день 7 апреля была, по заявлению мещанина Гриншпуна, изнасилована его жена Ита. Следствие по этому делу было направлено по 277 ст. Уст. Уг. Суд., но в настоящее время дело это возвращается для дополнения. Примите, Ваше Превосходительство, уверение в совершенном моем почтении и искренней преданности.

Подлинное подписал **А. Поллан.**

С подлинным верно:
Секретарь при Прокуроре Одесской Судебной Палаты

(подпись).

Глава 2

Когда лошадь лениво зацокала по мостовой, Владимир Галактионович открыл страницу с записями материального положения потерпевших и протянул Ашешову.

— Вот, полюбуйтесь, Николай Петрович, каковы эти злостные эксплуататоры.

Ашешов посмотрел записи.

— Да, я знаю этих горемык. Единственный из них, кого можно причислить к эксплуататорам, и то лишь в известном смысле, это сам хозяин: он жил квартирной платой. Но эксплуатировал он своих же единоплеменников, все жильцы его были евреи. Такова нехитрая правда об этой самой еврейской эксплуатации.

— А знаете, Николай Петрович, будь я из тех еврейских миллионеров, которые жертвуют крупные суммы на создание сельскохозяйственных поселений в Палестине или где-нибудь в Аргентине и вообще всерьез озабочены положением своих соплеменников, я не удержался бы от соблазна и поставил такой эксперимент. Я переселил бы из места погрома всех евреев. То есть дал бы им на это необходимые средства. Богач получил бы назад свое богатство, бедняк стал бы обеспеченным человеком, но при условии их переселения из Кишинева. А лет через десять мы бы проверили, так сказать, в чистом опыте, легче ли гнет ростовщика, если он называет себя христианином, и можно ли решить проблему эксплуатации, убивая стекольщика Гриншпуна, добывающего свой хлеб таким же трудом, как и его собратья-христиане.

— Владимир Галактионович, но вы же прекрасно знаете, что этих господ не убедят никакие аргументы. И разве само русское правительство не поставило уже такой опыт? Если бы евреи действительно ничего не производили, а только эксплуатировали, как утверждает печать определенного сорта, то в черте оседлости крестьяне и прочий трудовой элемент бедствовал бы куда сильнее, чем вне черты, где в целых губерниях не встретишь ни одного еврея. На деле же картина обратная. Нигде мужик так не беден и не разорен, как в великорусских губерниях, и этим все сказано.

— И все же такой эксперимент был бы очень поучителен, — отозвался Владимир Галактионович.

Ашешов опять хотел возразить, но увидел, что Короленко углубился в свои мысли, и счел за лучшее ему не мешать. Да и не спор это был у них, чтобы уточнять формулировки и выяснять истину, обоим ясную и очевидную. Просто, Короленко нужно было высказать, вылить в какую-то форму накопившееся на душе за это кошмарное утро, и Ашешов понимал: его присутствие рядом служит некоторой поддержкой Владимиру Галактионовичу.

Они знали друг друга уже лет двадцать — с тех еще времен, когда Ашешов редактировал „Самарскую газету", и Короленко из Нижнего Новгорода слал ему корреспонденции на местные темы. В самом Нижнем тогда не было ни одной порядочной газеты, а поддерживать своим именем и пером подлые издания он не считал возможным. К Ашешову он направил и молодого Алексея Пешкова, ставшего первым фельетонистом „Самарской газеты". Когда из-за пережитой семейной драмы Ашешов не мог оставаться в Самаре, Короленко помог ему укорениться в Нижнем и стать редактором „Нижегородского листка", в котором тотчас и сам стал печататься. В это время они особенно сблизились, и Владимир Галактионович окончательно проникся доверием к этому прямому и открытому человеку, в прошлом, как и он сам, ссыльному, потому что такова

была участь почти всякого русского интеллигента, если он не равнодушен к тому, что происходит вокруг, и старается жить в согласии со своей совестью и убеждениями.

В ранней молодости, только еще пробуя силы на поприще литературы, Ашешов был обуреваем честолюбивыми мечтами. Высокий, стройный, красивый, всегда скромно, но тщательно одетый, непринужденно державшийся в любом обществе, Ашешов был баловнем женщин, и легкие победы укрепляли в нем уверенность в себе. Будущее представлялось ему, может быть, не всегда прямым, но неуклонным восхождением к вершинам успеха. В голове его теснились разнообразные, хотя и не очень определенные замыслы. Ему мерещились каскады хвалебных рецензий, чествования, восторженные взоры поклонников и поклонниц, — словом, шумная и широкая слава. Однако время шло, а замыслы оставались аморфными, как бы плавающими в густом тумане. Они не кристаллизировались в четкую и ясную форму. Занесенные на бумагу, слова оказывались какими-то вялыми, бесцветными, фразы составлялись из них неуклюжие, тяжелые, какие-то искореженные. Пришлось оставить грандиозные замыслы (сперва казалось, что только на время) и взяться за будничную репортерскую работу, которая, впрочем, тоже давалась немалым трудом, так как каждую, самую простую заметку приходилось переделывать по многу раз. Мастерство накапливалось буквально по каплям. И так же, по каплям, убывали амбиции. Через несколько лет Николай Петрович уже без всякого сожаления, даже с иронией вспоминал о начатых своих романах, оставленных в дальнем ящике письменного стола, а при очередной смене квартиры и вовсе выброшенных на помойку. С мыслью о том, что природа не наделила его крупным литературным талантом, он смирился как-то очень легко, не испытывая при этом душевного кризиса или надлома, какой чрезмерно самолюбивого человека мог бы повергнуть в отчаяние и на всю жизнь отравить

болезненным сознанием собственной ординарности.

На первых порах, еще только вступая на литературное поприще, Ашешов с небрежением относился к посредственностям. Люди эти представлялись ему жалкими неудачниками. Средний инженер, средний врач или даже юрист мог, в меру своих сил, делать полезное дело и находить в этом удовлетворение и оправдание жизни, но средний писатель... В самом сочетании этих слов виделось что-то противоестественное. Однако, став профессионалом, Николай Петрович мог убедиться, что средние литераторы нужны не меньше, чем средние врачи или инженеры, может быть, даже больше. В России — наверняка больше! Ибо ни в чем так не нуждалась Россия, как в громко сказанном правдивом слове. Полезным мог быть всякий, даже обладающий самыми скромными способностями, литератор, если он честен и готов кое-чем пожертвовать ради того, что ему по-настоящему дорого. Порядочность и честность — это тоже талант, не менее важный для писателя, чем художественная одаренность.

Газеты, редактируемые Николаем Петровичем, отличались четкостью занимаемых позиций — насколько это вообще было возможно. Если в силу цензурного запрета газета не могла высказать свое мнение по важному общественному вопросу, она молчала, но никогда на ее страницах не появлялось раболепного подсюсюкивания. Выдерживать направление было нелегко — требовался безупречный вкус, такт и особая редакторская зоркость. Когда Николай Петрович спешно уехал из Самары и передал газету тогда еще малоопытному Пешкову, в ней тотчас стали появляться двусмысленности и даже пошлые выпады против евреев. Короленко тогда сделал молодому редактору мягкий, но достаточно ясный выговор, написав ему, что „при нашем положении прессы, когда многое говорить нельзя, нужно быть особенно осторожным в том, чего говорить не следует". Ашешов знал это письмо. Сам был достаточно чуток, чтобы никогда и ни в чем даже неволь-

но не подпевать разнузданному юдофобству.

К Владимиру Галактионовичу Ашешов относился с особой предупредительной нежностью. И не потому, что многим был ему обязан; не потому, что в лучших его произведениях видел как бы воплощение своих юношеских замыслов; но потому, главным образом, что очень уж сильно Короленко отличался от других знаменитых писателей, с которыми приходилось иметь дело. Даже самые простые и сердечные из них ни на минуту не забывали о своей значительности и всегда чуть-чуть любовались собой. Вокруг каждого как бы очерчен был круг, внутрь которого допускались лишь такие же знаменитости. Чернорабочему литературы, каким считал себя Ашешов, приходилось быть особенно осторожным, чтобы невзначай не переступить эту невидимую черту.

С Короленко никогда не возникало подобных проблем. В нем все было естественно и ничто напоказ. В круг его допускался всякий, чьи честные убеждения и верность этим убеждениям не вызывали сомнений. Всесветная слава Короленко, казалось, не имела для него никакого значения, во всяком случае, она нисколько не удлиняла дистанции между ним и окружающими.

Владимира Галактионовича, со своей стороны, восхищала самоотверженность таких людей, как Ашешов. Выявление крупных и мелких злоупотреблений, разоблачение афер различных дельцов, непрерывная война с беззаконием и цензурой (в провинции еще более придирчивой, чем в столицах) — в этом проходила их жизнь. Они неизменно оказывались во вражде с губернатором, полицией, со всеми отцами города. Им мстили доносами, обысками, тайным и явным надзором; их газеты приостанавливали и закрывали навсегда. Но они основывали новые печатные органы, а если это не удавалось, перебирались в другой город и снова брались за свою незаметную, но такую нужную России работу.

Сам Короленко был из той же породы, но его защищало громкое имя; эти же, рядовые служители столь жестоко гонимой гласности, были совсем беззащитны, но упорно делали свое дело.

Встреча с Ашешовым в Кишиневе оказалась для Владимира Галактионовича полным сюрпризом. Поздно вечером сидел он в своем номере, записывая в тетрадь впечатления ужасно проведенного дня (это был второй день его пребывания в Кишиневе) и со страхом ожидая неизбежную бессонницу (слишком сильно были напряжены нервы), когда в дверь постучали и затем просунулась в нее сияющая физиономия.

Короленко тотчас бросился к нежданному гостю:

— Николай Петрович! Какими судьбами? Как вы меня нашли?

Они троекратно, по-русски, расцеловались.

— Бе́ру ключ у коридорного, а он глядит именинником. „Пока вас не было, — говорит, — у нас еще один писатель поселился", — поправляя усы и немного поволжски „окая", стал объяснять Ашешов. — „Кто же это осмелился?" — спрашиваю -„Сам господин Короленко!" — „А коли так, — говорю, — веди меня к самому Короленко!"

— Молодец! Какой же вы молодец! — воскликнул Владимир Галактионович. — Тоже будете писать о погроме? — Короленко подал стул и усадил гостя.

— Что значит „тоже"? — шутливо обижаясь, возразил Ашешов. — Это вы — „тоже". Я уезжал на три дня, а вообще здесь уже месяц. Имею задание собрать как можно больше фактов и дать подробную картину всего, что здесь произошло. Так что на вашу долю, пожалуй, ничего не останется.

— Останется, Николай Петрович, останется! Надеюсь, глотки мы друг другу не перегрызем из-за еврейской конкуренции, как думаете? На исчерпывающую картину я не претендую, а вот несколько отдельных эпизодов попробую набросать, чтобы расшевелить воображение публики. Отсутствие воображения, знаете ли, самая

благодатная среда для бацилл юдофобии. Господа антисемиты отличаются одним и тем же свойством: у них атрофировано воображение.

— Ну, не совсем так! — возразил Николай Петрович. — Когда надо показать еврейские козни, они такое способны вообразить, что нам с вами ни в каком сне не приснится.

— Нет, не говорите; то, что вы имеете в виду, не воображение, а предубеждение. Это совсем другое.

— То есть? — не понял Ашешов.

— Воображение, Николай Петрович, это дитя культуры, свойство, воспитанное в нас цивилизацией, тогда как предубеждения восходят к первобытным инстинктам, маскируют, если хотите, первобытный инстинкт. Человек уже слишком цивилизован, чтобы просто так, без всякого повода хватать ближнего своего за горло. Мораль, религия, цивилизация учат человека добру и справедливости. А сидящий в нем зверь хочет именно хватать и кусать. Человек стыдится этих наклонностей, подавляет их в себе, но тем охотнее приписывает всякие гнусности другим, видя в том оправдание для своих собственных. На низменных свойствах человеческой натуры и играют умные негодяи вроде издателя „Бессарабца". Но это не воображение, нет, это именно предубеждение. Тот, кто наделен воображением, умеет поставить себя на место другого. Он чувствует чужую боль, как свою... Вот я и хочу показать несколько картин, чтобы расшевелить воображение господ юдофобов. Пусть полюбуются на дело своих рук. Только не знаю, преуспею ли...

— Какие могут быть сомнения! — удивился Ашешов. — При вашем таланте...

Владимир Галактионович остановил его нетерпеливым жестом:

— Это вы оставьте. Кажется, вы меня достаточно знаете, чтобы не думать, что я напрашиваюсь на комплименты. Не далее, как сегодня я встречался с местными юдофобами, и просто выть хочется от бессилия что-либо

им втолковать. И ведь что удивительно. Говоришь с ними о том, о сем, и видишь, что вроде бы не злые люди, радушные, вежливые, здраво рассуждают о многих предметах. Но как только коснешься евреев, словно в них что-то по команде меняется. Какая-то пелена ложится на лица, какая-то непроницаемая тупость, и все тотчас становятся чем-то неуловимо похожи друг на друга, словно родные братья. Такое, знаете ли, братство, только замешано оно не на любви, а на племенной ненависти. Всякий раз разговор с ними начинается и завершается одной и той же фразой. Знаете какой?

— Знаю! — красивыми длинными пальцами Ашешов потрогал усы, и в глазах его сверкнуло что-то озорное. — Фраза эта известна: „Евреи сами виноваты!"

— Вот именно! — усмехнулся Владимир Галактионович. — Даже о погроме они твердят то же самое: дело-де плохое, но виноваты сами евреи. „В чем же, спрашиваю, они виноваты?" — „А вот, говорят, представьте себе — идет толпа. Убивать положительно не хотели. Ну там разбили бы окна, мебель... Черт с ними. Жизнь человеческая дороже этого". — „Конечно, соглашаюсь я." — „Ну, а когда какой-то жид из-за окна, спрятавшись, вдруг выстрелит и убьет человека..."

Владимир Галактионович подробно пересказал чудовищный по своей тупости разговор, оставивший в нем такой осадок, словно он увязал в трясине. Среди собеседников выделялся высокий худощавый блондин вполне интеллигентной наружности, казалось, с ним можно найти общий язык. Владимир Галактионович пытался у него уточнить:

— Итак, убийства первыми произвели евреи?

— Да, — ответил тот, — в первый день убийств не было.

— Уверены ли вы в этом? В газетах писали, уже в первый день было несколько убитых евреев.

— Не знаю, кажется, нет.

— Значит, все-таки вы не уверены. И, может быть,

они тоже не были уверены. Согласитесь, что если на вашу квартиру, где ваша жена, дети, идет толпа с камнями и дрекольем, вы тоже будете защищаться, как сможете.

На это блондин не отвечал. Было видно, что у него не появилось даже искры сомнения. Он просто не мог представить себя в положении еврея, подвергшегося нападению толпы.

Так продолжалось и дальше. Заговоришь о другом — перед тобой нормальные люди, не лишенные даже оригинальности, но как только речь зайдет о погроме, та же тупая уверенность в лицах и та же надоевшая шарманка:

— Они сами виноваты, у них в руках все!

— Что значит — все? — допытывался Владимир Галактионович.

— Вся местная жизнь...

— В чем же это проявляется? В городской думе евреев большинство, и этим вызваны какие-нибудь неустройства?

— Большинства нет... Но гласные думы, которые христиане, в долгах у евреев.

— Допустим. Какие же неустройства приписываете вы влиянию евреев на городское самоуправление?

Снова растерянное молчание.

— А их сплоченность, — опять говорит блондин. — Вот на углу Пушкинской улицы основал магазин некто Фитов, болгарин. Завел усовершенствования: электричество, асфальт у входа. А все ж разорился, не мог конкурировать с евреями!

— Что ж, много город потерял от того, что болгарин не мог конкурировать?

— Да все-таки...

В разговор включился долго молчавший широкоскулый брюнет с горящими, как угли, глазами. На смуглом лице его выражение неподвижности, подобное тому, что Владимир Галактионович замечал у многих молдаван. Слова брюнет бросал медленно, отрывисто, тяжело, словно ударял молотом, но за медлительностью

речи чувствовалась страстность.

– Было в Елинешти. Шли двое. Рабочие. Возили известь. Ну, выпили. Ми богуле, говорят, то есть наш Бог. Евреи: наш Бог. Заспорили. Один ударил кого-то. Тот тоже ударил. Избили так, едва не остался там.

Так говорил он долго, бросая отдельные отрывочные факты, конечно, не проверенные, односторонне истолкованные, но при этом было видно, как в страстной душе его медленно закипает ненависть.

– Около Сорок. Колония есть. Евреи землю пашут. Как крестьяне. У них козы есть. Козы пошли в виноградник к молдаванину. Тот прибежал: „Дракуле, зачем выпустили, возьмите коз, чтоб они пропали". — „А, ты так!" Стали бить. И еще, извините, помочили сверху. Он пошел к уряднику. Урядник говорит: „Ступай в больницу". И больше ничего. Урядник у них имеет квартиру и стол.

— Ему надо было идти не к уряднику, а в суд!

– В суд? – И брюнет безнадежно махнул рукой.

– Это здесь главный мотив, — кивнул Ашешов. — Суд, полиция, чиновники, городская дума, даже газета Крушевана — все подкуплено евреями. Хотя никто не терпит столько произвола от властей и полиции, как евреи.

— Я пытался им об этом сказать, но безнадежно. Страшное ощущение: говоришь с людьми на одном языке, а между тобой и ними глухая стена, через нее не пробьешься и не докричишься. Имеющие уши — не слышат. В крайнем случае пускается в ход уже самый неотразимый аргумент: „Я человек русский и не могу выносить этой еврейской наглости".

– А наглость состоит в том, что они все-таки существуют, эти окаянные евреи, позволяют себе существовать, — мрачно заметил Николай Петрович.

Как легко было говорить с Ашешовым! Владимир Галактионович почти совсем успокоился, оттаял душой. После непробиваемой тупости утренней беседы особенно дорого было видеть человека, который понимает

тебя с полуслова. Ему не надо разжевывать, что ты вовсе не прекраснодушный юдофил, готовый превозносить любого еврея. Среди них тоже есть люди глупые, невоспитанные, нечестные, наглые, но никакой „еврейской наглости" нет и не может быть, как нет и не может быть „еврейской эксплуатации", потому что невоспитанных, да и подлых людей хватает в любом народе.

— Ну, ладно, Николай Петрович, довольно об этом. Расскажите лучше, как вы живете.

— С вашей легкой руки из никому не ведомого провинциала становлюсь столичным писателем. Между прочим, имею задание подготовить статью к вашему пятидесятилетию, так что не угодно ли дать интервью?

— Обо мне вы и так все знаете. А насчет моей легкой руки — бросьте. Про Пешкова тоже говорят, что я ввел его в литературу. Но мне сотни молодых людей приносили рукописи, а Максим Горький получился из одного. Да и учился он больше у вас, чем у меня. Расскажите-ка, что говорят в столице о погроме?

— Что говорят? Ясно, что! Двести писателей приняли Обращение к русскому обществу, но в печать цензура не пропустила.

— Это Обращение я читал, его поместил Струве в своем „Освобождении".

— Эх, один бы такой журнал, но не в каком-то Штутгарте, а здесь, и мы переделали бы всю Россию! — как-то по особенному проговорил Ашешов.

— Поэтому-то и не допускают, чтобы у нас был хоть один полностью независимый легальный журнал. Это означало бы конец полицейской системы власти, столь оберегаемой.

— Но оберегать ее становится все труднее, — заметил Ашешов. — Министр внутренних дел Сипягин, как вы знаете, уже поплатился за это жизнью, и я не удивлюсь, если такая же участь постигнет его преемника. Когда обществу зажимают рот, оно выдвигает из своей среды отчаянных юношей, готовых пожертвовать собой, но хоть таким способом высказаться.

— И самое любопытное, что преемник Сипягина это отлично знает, — согласился Владимир Галактионович. — Зимой я был в Петербурге и видел, как Плеве ездит по городу. Вы, конечно, тоже видели. В карете занавески спущены — боится выглянуть. Со всех сторон охрана на велосипедах. Арестантов так не стерегут в дороге — можете мне поверить: я был арестантом.

— Добавьте к этому, — заметил Ашешов, что улицу заранее очищают от народа, а на тротуарах среди публики шныряют шпики. Не министр едет по столице вверенного ему государства, а чужеземный завоеватель, ворвавшийся во вражеский стан.

— А что же прикажете им делать! Вся Россия для власти — вражеский стан, в этом корень вопроса. Кстати, что вы думаете о роли Плеве в организации погрома? Упорно говорят о телеграмме, какую он послал губернатору, но я полагаю, что это вздор. Не вижу пользы для власти от такого бессмысленного побоища.

— Ну, как же, польза немалая или, во всяком случае, видимость пользы. Ведь только последнему глупцу неясно, что в стране надвигается революция — такая же, как в восемьдесят первом году, но только более мощная. Тогда пожар удалось загасить, и вместе со спадом революции шла волна еврейских погромов. Направлял ее, как вы знаете, департамент полиции во главе с Плеве. Отчего же не прибегнуть к средству, которым Плеве, по его разумению, однажды уже выручил правительство?

— Нет, я считаю его умнее, — решительно возразил Короленко. — Одно дело — кричать, что русский народ предан царю, а бунтуют только инородцы; другое — сознательно организовывать еврейский погром, заранее зная, что он вызовет бурю возмущения и внутри страны, и заграницей.

— Власти могли не учесть того размаха, какой приняли протесты. Да и сам погром, возможно, был задуман в более скромных масштабах. При всем своем уме Плеве мог впасть в ошибку, свойственную всем деспо-

тичным правителям: они хоть и нос боятся высунуть без охраны, но считают себя хозяевами положения и полагают, что в любой момент могут загнать обратно в бутылку выпущенного джинна. А джинн-то вдруг оказывается непослушным.

— Вижу, вы склонны во всем обвинять правительство. Нелегко же вам будет опубликовать факты, которые вы собираете.

— Я их уже публикую регулярно каждую неделю, — спокойно ответил Ашешов.

— Вот как! — воскликнул Владимир Галактионович. — Почему же мне не попадались ваши материалы? Где они появляются?

— Да все там же. В „Освобождении". Без подписи, конечно. Я и уезжал отсюда в Румынию, чтобы спокойно передать корреспонденцию.

— Так вот оно что! А я все хочу спросить, что́ вам здесь делать целых три месяца, когда в подцензурных изданиях многого все равно не скажешь... Хорошо, конечно, что есть это „Освобождение", я и сам давал туда кое-что. Только много ли экземпляров его проникает в Россию? Нет, я буду писать для „Русского богатства". Пусть не все удастся сказать, но это будет сказано здесь.

Было далеко за полночь, когда Короленко улегся в постель. Зато он чувствовал, что годами изнурявшая его бессонница сегодня не опасна ему. Нечаянная встреча с другом расслабила нервы, и он знал, что уснет как убитый.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА

Его Высокопревосходительству
Господину Министру Юстиции

Поверенного еврейских молитвенных обществ

в гор. Кишиневе, Присяжного Поверенного Александра Николаевича Турчанинова.

Прошение

Полное и ясное исследование тех печальных событий, которые имели место 6-8 апреля 1903 года в г. Кишиневе и которые вытекают из сложных отношений разных слоев и интересов местного населения, необходимо требует, с одной стороны, много труда и усилий, а, с другой стороны, такого положения лиц, производящих исследование, которое ограждало бы их от возможности столкновений, при исполнении ими этих многосложных обязанностей, с особыми затруднениями, вытекающими из личных знакомств и сношений, столь естественных и неизбежных в малых провинциальных городах.

Как бы ни были добросовестны и искренни действия представителей местной следственной власти, если производимое ими исследование коснется того небольшого в губернском городе круга лиц, члены которого находятся между собою в постоянном и, можно сказать, необходимом общении, то доверие местного общества к действиям таких представителей колеблется, и исследование не может обнимать собою всего предмета со всей полностью. В особенности усиливается недоверие, а вместе с тем теряется правильное течение дела, если в местном обществе распространяются слухи о тех или других воззрениях представителей следственной власти на объеме подлежащей им задачи, выражающих их как бы предубеждения. В таком именно положении находится исследование главного дела о погроме в городе Кишиневе, где вполне известно, что, несмотря на протечение двух месяцев с начала производства дела, не было направлено никаких розысканий к разъяснению заявляемых потерпевшими и господствующих среди них слухов, подтверждаемых многими, сопровождавшими беспорядки, обстоятельствами, об организации, вызвавшей эти печальные события, и о тех отдельных лицах, занимающих в городе довольно видное положение, которым приписывается потерпевшими подстрекательство толпы к насилиям и буйствам.

Какие несомненные доказательства полного внимания к ходатайствам и указаниям потерпевших не представляют действия прокурорского надзора Одесской Судебной Палаты, но от-

даленность его нахождения от места производства следствия, и невозможность поэтому постоянного наблюдения и воздействия на производимое исследование, а вместе с тем важность и многотрудность дела, обнимающего собою обстоятельства очень сложные, дают мне смелость обратиться к Вашему Высокопревосходительству с почтительнейшею просьбою о назначении для производства следствия по делу о беспорядках в гор. Кишиневе совершенно постороннего местной жизни следователя, сообразно 288[1] ст. Уст. Уголовн. Судопр.

Присяжный Поверенный **Александр Турчанинов.**

6 июня 1903 г.

Резолюция Министра Юстиции Н.В. Муравьева:

В виду того, что суд. след. СПБ. и Моск. Окр. Судов по особо важным делам заняты производящимися у них спешными делами, и за отсутствием каких-либо уважительных оснований к изъятию из производства местных следственных властей дел, имеющих отношение к еврейскому погрому в Кишиневе 6-8 апреля с.г., а также за принятыми уже со стороны м-ва юст. мерами к обеспечению всестороннего энергического и беспристрастного исследования этого дела — оставить без последствий, о чем Прис. Повер. Турчанинову объявить. 9 июня 1903 г.

* * *

Секретно

Господину Прокурору Одесской Судебной Палаты
Прокурора Кишиневского Окружного Суда

Представление

Вследствие предписания от 30 июля с.г. за № 210, имею честь донести Вашему Превосходительству, что в настоящее время главным руководителем потерпевших от погрома, бывшего 6-9 апреля с.г., является Помощник Присяжного Пове-

ренного Округа С.-Петербургской Судебной Палаты, Цеге фон Мантейфеля, проживающего в г. Ревеле, Николай Дмитриевич Соколов. По его указанию, здесь работают Помощники Присяжных Поверенных округа той же Судебной Палаты: Карабчевского — Федор Акимович Волкенштейн и Шефтеля — Владимир Ефимович Ландсберг. Далее Помощники Прис. Поверенных округа Киевской Судебной Палаты: Радкевича — Константин Константинович Чекеруль-Куш, Изевекова — Анатолий Александрович Гольдштейн; Рущинского — Михаил Васильевич Милютин и неизвестного мне у кого состоящий Помощником — Маврикий Зомавитович Шишко. Кроме того, работает также помощник Прис. Повер. округа Харьковской Судебной Палаты Куликова — Борис Викторович Троцкий. Все означенные лица поселились в Кишиневе тотчас после отъезда Прис. Пов. Турчанинова и Зарудного, т.е. с конца апреля и начала мая. Деятельность их ни в чем существенном и полезном для дела не проявилась. Производя все время „параллельное следствие", они не дали ни одного верного указания и ничем не способствовали раскрытию тех дел, кои направлены нами по 227 ст. У. У. С. Все усилия свои они направляли к тому, чтобы тем или иным способом узнать подробности предварительного следствия и влиять на ход его в своих целях и интересах. Цель же их. по-видимому, заключалась: 1) ходатайствовать о возбуждении по сему делу уголовного преследования против Губернатора и др. лиц администрации, дабы создать возможно „громкий процесс", коим приобрести себе „известность"; 2) поставить дело таким образом, чтобы обратить внимание правительства вообще на еврейский вопрос и положение евреев; 3) привлечь к делу в качестве подстрекателей лиц состоятельных, дабы тем самым обеспечить потерпевшим гражданские иски. Для этой цели они усиленно, но бесплодно, стараются доказать существование будто бы „организации" погрома, и 4) в возможном затягивании предв. следствия, в видах продления, несомненно, получения причитающегося им ежемесячного гонорара. В указанных целях они заставляли и подавали, а равно и ныне еще подают от имени потерпевших массу прошений, в большинстве собственно неосновательных и бесцельных. Прошения эти они писали часто не по просьбе и желанию потерпевших, а вызывая к себе последних и, так сказать, „заставляя" их подписывать сочиняемые от их имени прошения. Насколько деятельность их мало соответствует истинным интересам дела, лучшим доказательством служит то, что они разошлись с местными Кишиневскими своими коллегами, которые все

время держат себя крайне корректно и от которых к нам не поступало ни одной неосновательной жалобы или прошения. Такие „настоящие" представители потерпевших, как Прис. Повер. Е. С. Кенигшац и Пом. Прис. Повер. Л. Б. Гольдштейн, будучи сами Кишиневскими евреями, значит лицами, непосредственно заинтересованными, говорили мне при переговорах с ними, что они не одобряют деятельности приезжих адвокатов, препятствующих только успокоению населения, жаждущего возобновления мирной, нормальной жизни, но что они ничего поделать не могут, т.к. приезжие адвокаты их не слушают, а поступают по-своему. Что касается гонорара, то упомянутые выше Помощники Прис. Поверенных получают таковой ежемесячно, каждый в размере от 300 до 600 руб., каковое вознаграждение сами они не считают „гонораром", а признают „возмещением лишь издержек на прожитие в Кишиневе и расходов по переезду". Источником этого вознаграждения является особый фонд в 40.000 руб., собранных „еврейскими комитетами помощи пострадавшим в Кишиневе", каковые комитеты после погрома образованы были во многих городах. Комитеты эти известный процент пожертвований отделили в особый упомянутый фонд в 40.000 руб., наименовав его „фондом юридической помощи", часть коего передали в распоряжение местных комитетов „помощи пострадавшим", как напр., Киевскому, С.-Петербургскому и Кишиневскому. Из указанного фонда упомянутые комитеты и присуждают уплату гонорара Прис. Поверенным и их помощникам, причем напр. прис. повер. Турчанинов за приезд свой сюда получил 3000 руб., а пом. пр. пов. Соколов получает 500 руб. ежемесячно. В случае недостачи, привезенная сумма в 40.000 р. будет, как мне объясняли сведущие лица, пополнена, насколько это будет нужно в данное время, т.к. общая сумма собранных в пользу евреев пожертвований крайне значительна. По всем изложенным данным, признавая деятельность указанных выше помощников присяжных поверенных не только бесполезной для дела, но и препятствующей умиротворению местного населения, из числа коего христиане весьма недовольны тем, что, по совершенно неосновательным прошениям евреев, их отрывают в летнее горячее время от полевых работ и напрасно заставляют являться на дознания и к следствию, хотя бы в качестве свидетелей, имею честь почтительнейше просить Ваше Превосходительство, не признаете ли возможность принять зависящие меры к ослаблению деятельности названных помощников присяжных поверенных и к предупреж-

дению имеющей воспоследовать подачи ими целого ряда, вероятно, также неосновательных проший, как в Окружный суд, так и в Судебную Палату и в Министерство Юстиции.

Прокурор Суда **В. Горемыкин.**

№ 878
1 августа 1903 г.,
г. Кишинев.

* * *

М. Ю. *Доверительно*
Прокурор Одесской Судебной
Палаты. Августа 9 дня 1903 г.,
№ 225, г. Одесса.

В Первый Департамент Министерства Юстиции,
Второе Уголовное Отделение, 2 делопроизводство.

Рапортом от 4 сего августа за № 221 я доносил Его Превосходительству Господину Управляющему Министерством Юстиции о том, что поселившиеся в г. Кишиневе помощники присяжных поверенных, по окончании предварительного следствия о Кишиневском погроме, начнут подавать многочисленные прошения с различного рода ходатайствами. Предположения мои сбылись: ежедневно ко мне поступают прошения, подписанные евреями, но писанные, несомненно, этими помощниками, в которых заявляются ходатайства о возвращении производственного следствия к доследованию, и основанием к этому приводится следующее: 1) что некоторые гражданские истцы не получили копию с производства; 2) что не все свидетели, указанные ими в подтверждение гражданского иска, допрошены; 3) что не все гражданские истцы и их свидетели, могущие удостоверить понесенные ими убытки, спрошены при следствии (потерпевших по делу несколько тысяч человек, и те из потерпевших, заявления которых на обвиняемых подтвердились на дознании, допрошены при следствии и, наконец, 4) что, узнав об участии в беспорядках новых обвиняемых, они просят и их также привлечь к следствию, уже законченному; по делам о Кишиневских антиеврейских

беспорядках привлечено к следствию несколько сот обвиняемых, и многие из них содержатся под стражею; к делу приобщен подробный осмотр всех разгромленных строений, и возвращать в настоящее время эти дела к доследованию не представляется никакого законного основания. В течение нескольких месяцев потерпевшие имели время и возможность предъявлять свои требования, и если они их своевременно не заявляли, то в этом их вина. Предъявления же, по окончанию следствия, неосновательных требований показывают желание их адвокатов, из неизвестных мне побуждений, растянуть дело на неопределенное время. А так как христиане едва ли могут расчитывать на силы своих защитников, — знаменитости адвокатуры предпочли защищать гражданские интересы евреев, — то остается уповать на судей, которые, без сомнения, озаботятся выяснением истины и, надо полагать, сумеют разобраться в сопоставлении свидетельских показаний с обстановкой погрома. Нельзя забывать, на что способна злоба евреев, когда им нужно унизить и опозорить христиан на весь свой еврейский мир. Нельзя также забывать о единодушии евреев, когда им нужно подставить под удар правосудия своих врагов. Предстоящий суд должен пролить истинный свет на всю эту драму и выяснить действительную подкладку Кишиневского погрома, не обращая внимания ни на какие изветы. Суду необходимо разобраться в вопросе, кто вызвал погром, кто был зачинщиком и кто избивал сначала христиан. Если же суд ограничится только присуждением к разным наказаниям убийц евреев, ими же указываемых, а зачинщики, подстрекатели и участники избиения христиан окажутся неразысканными, то евреи будут иметь возможность вторично оклеветать всю Россию. Виновные христиане, конечно, должны понести должную кару, но этой кары не могут и не должны избежать и евреи, которые возобновили на второй день побоище с о р у ж и е м в р у к а х. Вот почему, если верны дошедшие до нас сведения, что подсудимыми являются только христиане, то, полагаем, суд преждевременен, и следствие должно быть дополнено.

Прокурор Суда **В. Горемыкин.**

Глава 3

Владимиру Галактионовичу были известны те сложности, какие возникают в межнациональных отношениях, особенно, если есть силы, стремящиеся их осложнять. Детство его прошло в маленьких городках Волынской губернии, в том жарком плодородном крае, где скрестились судьбы многих народов, и каждый из них вносил свой колорит в своеобразную пестроту местной жизни. Русские и поляки, украинцы и евреи отличались друг от друга верованиями и обычаями, говором и манерами, темпераментом, традиционной одеждой, отчасти родом занятий. Русские чиновники снимали квартиры у поляков, в прислугу нанимали украинцев, а обувь и одежду шили у ремесленников-евреев. Евреи-торговцы доставляли в город зерно и фураж, скупаемые у окрестных крестьян, а в деревню везли инструмент, инвентарь и прочий городской товар. Беднейшие из евреев, не имея определенных занятий, суетились вокруг постоялых дворов, готовые за копеечные чаевые бежать по поручениям заезжих господ, но чаще одариваемые руганью и пинками за „жидовскую назойливость".

Все сплеталось в клубке взаимных услуг и интриг, честных и нечестных сделок, дружбы и вражды, взаимной помощи и конкуренции. Все так или иначе зависели друг от друга и только когда умирали, отправлялись на разные кладбища — православное, католическое, еврейское.

Конечно, не было недостатка в недоразумениях, обидах, столкновениях, усугублявшихся взаимным недоверием и стереотипами представлений, питаемых

вековыми предрассудками.

В семье Короленко преобладала терпимость, хотя бы потому, что хозяин дома — пуритански честный и неподкупный судья — был православным и русским, а хозяйка — полькой и католичкой. Но даже относительная широта взглядов в доме господина судьи уживалась с предубеждениями. В „Истории моего современника" Владимир Галактионович упоминает портного Шимко „с широким лицом, на котором тонкие губы и заострившийся нос производили впечатление почти угрюмого комизма", так что все „изощряли остроумие над его наружностью и над его предполагаемыми плутнями". Надо думать, еврея и пускали-то в дом не столько из-за того, что в нем нуждались, сколько ради потехи... Однако, когда судья умер и вдова осталась без всяких средств, Шимко сам предложил ей свои услуги и с усердием обшивал детей, „не заикаясь о сроках уплаты и никогда не торгуясь", да и во многих житейских делах помогал неопытной женщине. В предполагаемом плуте обнаружился бескорыстный и великодушный человек, готовый без лишних слов придти на помощь в трудную минуту. Но чтобы это открылось, потребовались чрезвычайные обстоятельства. В обычном же представлении еврей был плутом. Не потому, что пойман на плутовстве, а потому, что еврей. *Они все такие.* Это не требовало доказательств...

Национальную нетерпимость Короленко почувствовал на себе, еще будучи маленьким мальчиком, когда только начал учиться в пансионе пана Рыхлинского. На всю жизнь он запомнил острую обиду, какую испытал в тяжелые дни расправы над восставшей Польшей, когда товарищ поляк Кучальский, дружбой с которым он особенно дорожил, холодно оттолкнул его только за то, что он „москаль".

Появившийся в пансионе новый учитель Буткевич бравировал показным украинофильством и красовался в почти бутафорских малороссийских одеждах. Учитель горячо убеждал Владимира, что он вовсе не

русский, а „вольного казацького роду". На мальчика эта новость произвела лишь то впечатление, что ничто, стало быть, не мешает его дружбе с Кучальским. Однако маленький гордый поляк, услышав, что Короленко „не москаль, а малоросс", печально сказал:

— Это еще хуже. Они закапывают наших живьем в землю.

По отношению к Владимиру Короленко это было вдвойне нелепо: ведь он сам был наполовину поляком! Но своей детской душой он понимал, что суть дела не в проценте крови. Будь он чистокровный малоросс или чистокровный „москаль" — в чем была бы его вина? *Они* закапывают, а *он* в ответе! За действия людей, которых никогда не видел, не знает, на чьи поступки не может никак повлиять...

До чего способны дойти те, кто культивирует национальную рознь, Короленко познал полной мерой, когда вел борьбу за вотяков-удмурдов, обвиненных в принесении человеческой жертвы языческому Богу. Прошло восемь лет, но перед Владимиром Галактионовичем, словно живые, стояли лица негодяев, фабриковавших ложное обвинение против целой народности. Иезуитствующий прокурор Раевский, пристав Шмелев, изолгавшийся ученый эксперт Смирнов, за спиною которых стояла грозная тень обер-прокурора синода Победоносцева, изощряли свою дьявольскую изобретательность на подлогах и фальсификациях. Жестокие истязания подозреваемых, запугивания свидетелей, извращение следственных материалов — все было пущено в ход, чтобы сбить с толку невежественных присяжных и затем использовать обвинительный приговор для разжигания племенной вражды.

Владимиру Галактионовичу удалось придать делу широкую огласку, а после того, как сенат дважды кассировал обвинительный приговор, пришлось выступить на суде в роли защитника. Не имея ни опыта, ни юридического образования, он наделал массу ошибок, но вложил в дело весь свой ум, темперамент и страсть.

Остальное довершили его товарищи по защите, особенно Николай Платонович Карабчевский, один из сильнейших адвокатов России. И они выиграли это единственное в своем роде сражение.

Карабчевский так нервничал перед вынесением приговора, что не мог пойти в суд; вместо этого он разделся, лег в постель и с головой укутался в одеяло. А когда услышал от примчавшегося из суда Владимира Галактионовича столь страстно ожидаемое: „Всех оправдали!", взметнулся вихрем и, как был, в исподнем, повис у него на шее...

Вот он, миг торжества! Звездный час всей жизни Владимира Галактионовича.

То был бы и счастливейший его час, если бы... Если бы не смятый комок бумаги, судорожно всунутый во внутренний карман пиджака и прожигавший грудь раскаленным шомполом... Именно в то утро подали ему телеграмму, и страшный смысл ее, еще не дойдя до сознания, опалил сердце.

„ ... умерла Оленька".

Два слова перевернули все. Хрупкое беззащитное создание — ее больше не было, не существовало на свете... Не было этих нежных волосиков, обрамлявших такую родную мордашку; этих пухлых пальчиков с вмятинами на суставах, этих больших и ясных, радостно-доверчиво-удивленных глаз... Не было больше невинного ангелочка, за которого в любой миг, и не задумываясь, с радостью величайшей, отдал бы жизнь... Ее уже не существовало на свете... А он был — такой же большой, сильный, деятельный, оставивший крошку в предсмертных мучениях...

Ведь ей уже было плохо, когда он уезжал на этот суд... Очень плохо... Острая жалость перехватывала горло, когда прижимал к себе ее маленькое, сотрясаемое удушливым кашлем тельце... Но суд был назначен, и он должен был ехать, отказаться в последний момент значило окончательно погубить удмурдов. Она, видно, так и зашлась в одном из приступов этого страшного

кашля... Таков был естественный ход природы... Но разве это естественно, когда умирает дитя? Покинутое дитя... Какой страшной ценой далась победа! Нужна ли она ему — такой-то ценой?..

После этого потрясения и началась у него глубокая, годами длившаяся депрессия с неизбежными ее атрибутами, то есть безволием, безысходной тоской, отвращением к литературной работе и к самой жизни и стойкой выматывающей нервы бессонницей, по временам возвращающейся и теперь, после сильного перенапряжения нервов.

Если бы не оправдали тогда вотяков, он не пережил бы этого, может быть, покончил бы с собой... Выходило, что он спас их от каторги, а они спасли ему жизнь.

Они с Карабчевским еще возбужденно обменивались восклицаниями, когда увидели в окно одного из присяжных — крепкого широкоплечего крестьянина с широкой русой бородой. Все дни процесса он сидел, расставив ноги, стиснув крепкие зубы и словно распространял вокруг себя поле вражды и недоверия к подсудимым. Владимир Галактионович внимательно следил за его настроением и именно ему мысленно адресовал свои речи. Убедить этого крестьянина значило добиться оправдательного приговора.

И вот этот самый крестьянин, уже немного выпивший на радостях, низко поклонился и, подойдя к открытому окну, сказал:

— Ну, спасибо, господа хорошие, вот я вернусь в деревню, расскажу. Ведь я ехал сюда, чтоб засудить вотских — пусть не пьют христианскую кровь. Чуть было не взял грех на душу. Теперь сердце у меня легкое!.. Спасибо! — и он опять поклонился.

Они переглянулись с Карабчевским и Николай Платонович сказал, глядя вслед удаляющемуся крестьянину:

— Даже в очень сложном и запутанном деле самый темный мужик способен определить, где правда, если ему изложат все „за" и „против". Никакая клевета

не страшна, если противная сторона имеет возможность опровергать. Да и клеветник остережется лгать, зная, что получит отпор. Вот почему нам так нужна гласность...

Все это было верно. До банальности верно, так что неловко было повторять. И все же повторять было необходимо, потому что ничто не было так далеко от реальной российской действительности, чем эта плоская банальность. Полицейский произвол и культивирование национальной нетерпимости были лишь крайним выражением безгласности, которая во сто крат хуже полной немоты, потому что безгласность не есть молчание, это гласность наоборот, когда можно выдавать за истину самую чудовищную ложь.

Именно безгласность позволила в восьмидесятые годы объявить инспирированные фон Плеве погромы вспышкой народного гнева против „еврейской эксплуатации", а затем, введя чудовищные „Временные правила" против евреев, разработанные комиссией во главе с тем же Плеве, оправдывать их необходимостью защитить евреев против этого гнева. При этом даже не очень заботились держать в секрете, что борьба Плеве против мифической „еврейской эксплуатации" приносит его покровителю графу Игнатьеву, тогдашнему министру внутренних дел, отнюдь не мифические барыши.

В обществе хорошо знали, что граф ведет очень широкую беспорядочную жизнь и, несмотря на баснословные богатства, жалование министра и крупные единовременные выдачи из казны „за особые заслуги", часто нуждается в деньгах. И вот, когда нужда становилась особенно острой, граф поручал Плеве подготовить новый антиеврейский законопроект, причем, всякий раз так получалось, что строгая тайна становилась известна еврейскому „печальнику" барону Гинцбургу — крупному банкиру и филантропу. От барона к графу поступало приглашение отобедать в узком кругу в отдельном кабинете гостиницы „Англетер", на что граф, несмотря на занятость государственными делами,

всегда ухитрялся выкроить время. За обедом, в котором участвовало не больше пяти-шести персон, барон Гинцбург тихим вкрадчивым голосом высказывал осторожные суждения о нежелательности нового закона. Граф выслушивал все с благосклонным вниманием, после чего, утомленный беседой и обильными возлияниями, тихо засыпал в уютном кресле.

Чтобы не мешать его сиятельству почивать, все присутствовавшие удалялись. А минут через пять в кабинет осторожно входил секретарь барона Гинцбурга и, приблизившись на цыпочках к спящему графу, вкладывал ему в боковой карман увесистую пачку банкнот. Еще через пять минут секретарь снова заглядывал в кабинет. Если граф продолжал почивать, то это означало, что сумма недостаточна и операцию надобно повторить. Если же он заставал графа проснувшимся, то все было в порядке, и обед продолжался. В обществе поговаривали, что сами „Временные правила", будто бы ограждавшие евреев от народного гнева, появились только потому, что граф и барон не смогли столковаться о величине взятки.

Однако официально всей этой правды не существовало, громко заявить о ней было невозможно, зато любая ложь, соответствовавшая видам правительства, могла без всяких препятствий выплескиваться на страницы печати. Развернулось соревнование между бессовестными писаками: кто кого превзойдет в изобретении антисемитских мифов. Евреи выставлялись как прирожденные хищники, паразиты, притеснители, проныры. Поношению подвергались их религия, традиции, обычаи... На множество ладов разоблачался всемирный иудо-масонский заговор... А под этот трезвон шло методичное ограбление бесправного народа. „Временные правила" были составлены так, что неукоснительное их соблюдение привело бы к постепенному вымиранию доброй половины российских евреев. „Правила" приходилось нарушать — поневоле евреям, а по доброй воле — властям, чья добрая воля щедро оплачивалась

из еврейских карманов. А простой народ, не имевший никаких выгод от борьбы с „еврейской эксплуатацией", получал своеобразную моральную компенсацию в виде сознания собственного превосходства над евреями, которых можно было безнаказанно оскорблять и унижать, тем более, что именно в них, как изо дня в день втолковывалось народу, причина всех его бед и несчастий.

В глазах Короленко все это означало, что в России нет особого еврейского вопроса, ибо он неотделим от главного, русского вопроса — о том, какое будущее готовит себе Россия.

Конечно, не один Короленко так думал. Владимир Галактионович хорошо помнил взолновавшее его письмо Владимира Соловьева, полученное много лет назад. Соловьев просил присоединиться к обращению, с которым намеревались выступить крупные деятели науки и литературы. Обращение было написано самим Соловьевым, а первой под ним стояла подпись Льва Толстого. В нем говорилось, что раздувание антисемитских настроений — это небывалое нарушение основных требований справедливости и гуманности, и оно ведет к нравственному одичанию русского народа. Опасность нравственного одичания и побудила религиозного христианского философа взять на себя инициативу выступления против антисемитизма.

Возвращая „Обращение" со своей подписью, Владимир Галактионович сопроводил его обстоятельным письмом, он благодарил Соловьева за то, что тот „не обошел его в благородном деле".

„Я всегда смотрел с отвращением на безобразную травлю еврейства в нашей печати, травлю, идущую об бок с возрастанием всякой пошлости и с забвением лучших начал литературы", — писал в том письме Владимир Галактионович. „Даже заведомого злодея, — писал он, — нельзя наказывать за проступок, в котором он не повинен, и никто не виновен в том, в чем не участвовала его воля. Ни один человек поэтому не должен

отвечать за то, что он родился от тех, а не других родителей, никто не должен нести наказание за свою веру, — потому что верность религии, пока не убежден в ее ошибочности, есть достоинство, а не порок... Боритесь с эксплуатацией во всех ее видах. Если верно, что евреев эксплуататоров больше, чем христиан,.. что ж, значит еврейство в этой борьбе понесет больше урона, и это будет естественным следствием его пороков. Таким образом, даже карающая справедливость будет удовлетворена. А теперь из-за этой борьбы с „еврейской эксплуатацией" слишком уж явно выглядывает эксплуатация российская, распущенная и циничная".

Соловьев подготовил целую книгу, включив в нее это и другие подобные письма, однако она была конфискована и уничтожена цензурой. Да и само „Обращение", подписанное двумя десятками виднейших представителей русской интеллигенции и культуры, не увидело света. Так и не дошел до России независимый голос лучших ее представителей. Подлые газетенки изо дня в день продолжали забрасывать грязью целый народ, а честная пресса вынуждена была молчать, задушенная цензурным кляпом. Не требовалось большой проницательности, чтобы понимать, что именно эта безгласность и привела Россию к кровавой кишиневской Пасхе.

Пока тощая кляча, с трудом переставляя копыта, тащилась по окраинным улочкам, петлявшим среди каменных накаленных домишек с узкими окнами, похожими на бойницы — дома эти, видать, были свидетелями еще турецких набегов, — Владимир Галактионович сидел неподвижно, молча уставившись в округлую спину извозчика и о чем-то сосредоточенно думая. Извозчик тоже молчал и почти не шевелился на своем облучке. Он щадил старую лошадь, благо седоки не торопили его. Ашешов искоса поглядывал на Короленко, но видел, что мыслями тот еще там, на Азиатской улице, у страшного дома номер 13...

— У меня не идет из головы один эпизод, — загово-

рил, наконец, Владимир Галактионович, всем массивным телом своим поворачиваясь к Ашешову. — Когда эти трое, из сарая, вбежали на чердак и увидели, что громилы следуют за ними, они стали разбирать изнутри черепицу, чтобы выбраться на крышу. Первым удалось выскочить юркому Махлеру. Затем старик Бернадский подсадил дочь. А когда следом за ней стал вылезать сам, к нему уже подбежали, и какой-то детина повис у него на ногах. Дочь тянула вверх, а детина вниз. Девушка выбилась из сил, и вот, отчаявшись, она наклонилась к дыре и стала умолять: „Отпусти его, я тебя очень прошу, отпусти". И тот, представьте себе, отпустил!.. — Владимир Галактионович откинулся на спинку сидения, помолчал, потом продолжал, уже не поворачиваясь к Ашешову, а словно бы вслух рассуждая с самим собой. — Понимаете, какой нелепый момент! В нем, собственно, весь ужас погрома. Что двигало этими людьми? Племенная ненависть, хотя бы и искусственно вызванная агитацией Крушевана, — это понятно; но тут даже не было ненависти. Так, какое-то озорство, развлечение. Вроде каруселей или перепляса под пьяную гармонь, только с запахом крови... Может быть, чудаку, который внял мольбе несчастной дочери, и отпустится его грех, но ведь вполне возможно, что, проявив великодушие, он затем вылез на крышу и сам был среди тех, кто сбросил с нее и Бернадского, и его дочь...

— Почти уверен, что так и было, — отозвался Ашешов. — толпа есть толпа, она не ведает, что творит, но зато хорошо ведают те, кто ее направляет. Агитацию Крушевана не отодвинешь как нечто второстепенное.

— Ну, в этом меня убеждать не надо, — Владимир Галактионович снова повернулся к Ашешову. — Я вот вам расскажу, как неожиданно получил тому подтверждение еще в поездке, пока ехал сюда и разговорился с одним добреньким местным попиком...

Попик был небольшим пухлым человеком с мягкими, как подушечки, руками и жиденькой темнорусой

бороденкой. Он сильно страдал от жары и поминутно вытирал большим клетчатым платком распаренную шею. Он имел приход в одном из сел Бендерского уезда, почти все его прихожане были молдаванами, но попик откровенно признался, что языка их не знает и грешным делом недолюбливал молдаван.

— Странный какой-то народ, непонятный. Вялый, медлительный, но вдруг становится злым и мстительным.

Говоря это, попик тяжело вздыхал, в тоне его чувствовалось не столько осуждение молдаван, сколько сожаление о них. Его мягкость и бесхитростность нравились Владимиру Галактионовичу.

О погроме попик сказал со скорбью в голосе:

— Да, ужасно, это ужасно... И эти люди называют себя христианами...

— Чем же, по-вашему, вызвана такая ненависть, — с интересом спросил Владимир Галактионович.

— Я вот как на это смотрю, — грустно ответил попик. — Погром — дело богомерзкое и позорное. Одному диаволу в радость (он так и сказал: диаволу). А все же и сильно винить христиан тоже не совсем справедливо будет. Евреи сами во многом виноваты.

— В чем же? — Владимир Галактионович удивился неожиданному повороту разговора. — Неужели вы тоже считаете, что еврейская эксплуатация чем-то отличается от своей, христианской?

Владимир Галактионович не сомневался, что под стандартным „сами виноваты" попик имеет в виду все ту же „еврейскую эксплуатацию". Но тот неожиданно ответил:

— В этом я не особенно разумею, а вот вера...

— Да что нам с вами до их веры! — воскликнул Владимир Галактионович меньше всего ожидавший, что попик окажется нетерпимым религиозным фанатиком. — Пусть молятся себе, как им угодно. Вы убеждены, что их вера неправая, ну, так Бог их и покарает. Нам-то какое до этого дело?

— Так ведь не любят они христиан, проклинают, злодейства всякие умышляют.

— С чего вы взяли? Какие злодейства?

— Ну, как же. Ведь даже кровь христианскую в опресноки свои добавляют...

— Вы что же это, серьезно? Неужели верите сказкам?

— Рад бы не верить, да вы про убийство в Дубоссарах слыхали?

— Так вот оно что! — понял, наконец, Владимир Галактионович. — Но ведь это злостная выдумка, намеренно подхваченная „Бессарабцем".

— О том и столичные газеты писали, — настороженно ответил священник.

— Но ведь все это опровергнуто!

— Кем? Еврейской прессой?

— Послушайте, батюшка, — чувствуя, что начинает горячиться, заговорил Владимир Галактионович. — Не еврейская, а вся лучшая часть русской прессы не верит в ритуальность дубоссарского дела. И сам „Бессарабец" вынужден был напечатать опровержение. Вот, читайте, у меня с собой этот номер!

Готовясь к поездке, Владимир Галактионович подобрал некоторые материалы, связанные с погромом. Ему не составило труда извлечь из саквояжа тоненькую папку и вынуть из нее номер газеты с обведенной синим карандашом заметкой.

Попик взял газету с недоверием, молча стал читать, но заключительные строки произнес вслух, с каждым словом поднимая голос от возрастающего недоумения:

„По сообщенным теперь точным сведениям оказывается, что в этом деле решительно нет ничего такого, что дало бы возможность видеть ритуальное убийство даже для лиц, предрасположенных к тому"...

Священник посмотрел на Владимира Галактионовича, в его округлившихся глазах застыл немой вопрос и растерянность. Он снова прочитал заметку от начала и до конца, словно бы не поверив себе.

— Как же это? — заговорил он растерянно. — А

наколы на жилах... А раны, нанесенные особым треугольным предметом, чтобы кровь стекала по желобу...

— Все это ложные слухи! Газета Крушевана подхватила их, чтобы фанатизировать толпу. А за Крушеваном — „Новое время"!

— А куда же смотрели власти? Цензура?..

Священник никак не мог придти в себя.

— Цензура, батюшка, всегда смотрит туда, куда нужно, — едко сказал Владимир Галактионович. — Вот вы не заметили краткого опровержения, напечатанного мелким шрифтом, и тысячи других читателей не заметили. Поэтому „еврейская", как вы ее называете, а попросту говоря, вся честная русская пресса хотела подробно осветить это дело. Ведь „Бессарабец" успел во всей зловещей полноте нарисовать картину страшного человеческого жертвоприношения. В умах и сердцах встревоженной массы запечатлелся образ беззащитного ребенка, которого силой схватили иступленные евреи, живому зашили рот, нос, уши, распяли в темном подполье и капля за каплей источили из него кровь, чтобы упиться на своей дьявольской тризне. Вы, батюшка, поверили этой басне. Что же сказать о темной толпе, если кровавые измышления идут навстречу ее стародавнему предрассудку? Потворствовать такому суеверию легко, а бороться с ним очень трудно; надо приложить вдесятеро больше усилий. Так почему же, вы думаете, „еврейская" пресса молчала? Цензура, батюшка, цензура! Особый циркуляр господина Плеве: не касаться более дубоссарского дела.

— Так что же — это он по злой воле? — испуганным шепотом спросил священник.

— От Плеве, батюшка, всего можно ожидать, но мне кажется, что на этот раз злой воли не было. Он лишь хотел остановить распространение ложных слухов. В этом лишнее доказательство вреда цензуры. Даже если гласность ограничивается из благих побуждений, это оборачивается злом. Я подчеркиваю, что говорю только о данном случае, потому что в целом имею

о господине Плеве крайне невыгодное для него мнение. Вы знаете его программу: сначала умиротворение, потом реформы. А ведь он достаточно умен, чтобы понимать, что при современном положении дел *до* реформ, то есть прежде, чем власть докажет, что сама готова отвечать за свои действия перед законом, никакое умиротворение невозможно.

— Но бунтовать против власти великий грех! — прошептал священник. — В Писании сказано...

— Я знаю, что сказано в Писании, — мягко перебил попика Владимир Галактионович, — а вот знаете ли Вы, что напечатано на первой странице Свода законов Российской империи? Прочту вам наизусть: „Все ниже сего изложенные законы должны быть свято соблюдаемы впредь до изменения их в законодательном порядке, и наипаче лицами, власть имущими". Золотые слова! Сейчас много говорят о конституции, но Свод законов — та же конституция, нужно только, чтобы лица, наделенные властью, соблюдали законы. Они же привыкли свои действия согласовывать с повелениями более высокого начальства, хотя бы незаконными, а фон Плеве первым насаждает этот произвол.

В купе их было двое. Владимир Галактионович сидел, подавшись грузным телом вперед, набычив крупную голову с шапкой непокорных волос и буйной своей бородой. Пронизывая попика острым взглядом, он смотрел куда-то сквозь него, более сосредоточенный на собственной мысли, чем на собеседнике, и потому не сразу заметил, как беспокойно тот ерзает на лавке.

— Разве можно так... о высшей власти, — испуганно проговорил священник. — Это гордыня в вас...

Тут только Владимир Галактионович представил, какое смятение посеяли его слова в душе попика, и расхохотался.

— Можно, батюшка! Говорить — все можно. И именно о высшей власти. Даже о том, что евреи пьют христианскую кровь, можно говорить и писать, при усло-

вии, что другая сторона может опровергнуть эту подлую клевету.

Но попик сидел, испуганно помаргивая большими водянистыми глазками и вобрав голову в плечи, так что Владимир Галактионович поспешил закруглить столь непривычную для его попутчика тему.

— Так я убедился, — пересказав все это Ашешову, продолжал Владимир Галактионович, — что агитация Крушевана действует не только на темную массу, но и на духовных лиц. Впрочем, удивляться тут нечему. Достаточно вспомнить, как мало сельские священники по своему развитию отличаются от своих прихожан. Семинарское образование поставлено из рук вон плохо, и Синод пресекает всякие попытки его улучшить. Победоносцев не скрывает, что попы ему нужны невежественные, ибо каков поп, таков и приход. Образованный священник — начало вольнодумства в народе.

— Это симптомы застарелой болезни, только она не излечивается, а напротив, становится все более тяжелой, — заговорил Ашешов. — Белинский, вы помните, назвал духовенство опорой кнута и деспотизма. Однако в его время опора была еще довольно крепкая — сам Гоголь надеялся на нее. Достоевский тоже видел в православной церкви спасительный якорь для России. В наше время уже немыслимо, чтобы честный писатель, хотя бы и консервативных взглядов, уповал на церковь. Отлучение Льва Толстого рассеяло последние иллюзии. Опора сгнила, осталась одна труха. На темные массы духовенство еще может воздействовать при помощи чудотворных икон, мощей, разных святых исцелителей, но в литературе за церковь держатся только Меньшиковы да Крушеваны. Подумайте: вместо Гоголя — Меньшиков, вместо Достоевского — Крушеван... Вы, конечно, помните замечательную мысль Монтескье, что падение режима начинается с разложения принципов. И вот принципов уже нет, значит падение неизбежно. Признаюсь, на меня это нередко наводит тревогу.

— Но разве мы с вами не ждем с нетерпением этого падения, не жаждем обновления нашей несчастной родины? — спросил Владимир Галактионович.

— Конечно, ждем, и не только ждем, но и сами приближаем его всей нашей деятельностью — кто больше, а кто меньше, это уж зависит от сил. Но чем ближе конец старой России, тем больше меня беспокоит мысль: а что же потом? Демократическая республика? Признаюсь, не могу представить себе Россию республикой! И какой страшной должна быть драка, сколько невинной крови будет пролито... Не есть ли этот погром — грозное предзнаменование того, что ждет Россию в ближайшие годы?..

— Что ж, Николай Петрович, ваша тревога более чем понятна. Драка будет жестокая, и вы правы: она уже началась. А потом? Видимо, одно из двух. Либо восторжествует законность, либо новый деспотизм, но уже на иных принципах. Так ли важно, в конце концов, установится ли у нас парламентская республика, или конституционная монархия, или сразу социализм? Куда важнее, чтобы мерой всех ценностей стал человек, отдельная человеческая личность, независимо от нации, исповедования, класса и всего прочего. Все должны быть равны перед законом и отвечать тоже только перед законом. Пусть будут плохие законы — все же их надо выполнять без всяких отступлений, тогда недостатки их скоро обнаружатся и их можно будет переменить. Если установится законность, значит жертвы будут не напрасными. Ну, а если восторжествует новый деспотизм, борьба начнется сначала, и в первую очередь, вокруг новых принципов. Сначала Белинские будут выступать против Гоголей, а потом такие, как мы с вами, против Крушеванов. Но будем надеяться, Николай Петрович, что этой чашей судьба обнесет Россию. И, может быть, именно решение еврейского вопроса поможет этому. Если мы добьемся отмены черты оседлости и прочих ограничений, если мы приучим людей смотреть на еврея как на личность,

чье человеческое достоинство мы обязаны уважать, то тем самым мы поднимем уважение и к русскому человеку, ко всякому человеку.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА

Прокурор Одесской Судебной Палаты. Июня 14 дня 1903 г.
№ 130, г. Одесса.

Конфиденциально

В Первый Департамент Министерства Юстиции.
Второе Уголовное Отделение, 2-е делопроизводство.

Вследствие отношения от 6-го сего июня за № 25571 и в дополнение от 4-го июня за № 2149, имею честь уведомить Первый Департамент, что обвинительный акт по делу о Василии Мельнике, Иване Галите и др., обвиняемых по 269[1] ст. Улож. о Нак., Одесской Судебной Палатой 10-го сего июня утверждено. Что же касается вопроса о том, насколько представляется желательным закрытие по настоящему делу, в порядке 621[1] ст. Уст. Уг. Суд., дверей судебного заседания на все время рассмотрения упомянутого дела, то я долгом считаю сообщить следующее: беспорядки, происшедшие в Апреле месяце в Бессарабской губернии, породили весьма много превратных толков, как среди населения, так и в печати. В обществе распространяются слухи, будто беспорядки были подготовлены известною частью интеллигенции с **ведома и согласия правительства** *и были правильно организованы. В народе же говорят, что существует распоряжение бить евреев.* **Все эти превратные толки, хотя и желательно было бы опровергнуть путем гласного рассмотрения на суде всех дел о беспорядках в Бессарабской губернии,** *но с одной стороны, в действительности, данные судебного следствия, которые появятся в печати, могут послужить, как к тому уже и были примеры, к совершенно превратному толкованию выяснившегося на суде со стороны лиц, сеющих смуту в простом народе, а с другой — нельзя не скрыть, что если рассматривать эти дела публично, то при всем старании, невозможно будет обойти вопроса о бездействии административных властей,*

на что, конечно, главным образом, будут направлены все старания поверенных гражданских истцов, которые даже во время предварительного следствия, желая принять в нем активное участие, обращали преимущественно на это свое внимание. В виду этого я полагал бы более целесообразным все дела об антиеврейских беспорядках в Бессарабской губернии, происшедших в апреле месяце сего года, рассматривать при закрытых дверях. К изложенному имею честь присовокупить, что всех дел о беспорядках в Бессарабской губернии, которые поступят в Одесскую Судебную Палату, будет около 30, и по приблизительному расчету обвиняемых по ним будет человек 300. При личных разговорах моих с Старшим Председателем Одесской Судебной Палаты было решено рассматривать эти дела не в Кишиневе, где, как Предводитель Дворянства, так и Городовой Голова и его Товарищи были свидетелями беспорядков, и присутствие их в составе Судебной Палаты могло бы возбудить нежелательные нарекания, а в другом городе, а именно в Тирасполе, Херсонской губернии, отстоящем недалеко от Кишинева; причем первым рассмотреть главное дело о беспорядках в Кишиневе, которое охарактеризует всю картину разгрома, затем уже разрешать другие дела. Я не знаю только, в состоянии ли будет Судебная Палата, в наличном ее составе и при обилии других дел, рассмотреть в скором времени все эти дела без усиления ее несколькими членами. По всей вероятности, все дела о беспорядках к сентябрю месяцу поступят уже в Палату.

Прокурор Судебной Палаты **А. Поллан.**
Секретарь **(подпись)**

* * *

Прокурор Одесской Судебной Палаты. Октября 20 дня 1903 г. № 4030, г. Одесса.

Весьма спешное.

В Первый Департамент Министерства Юстиции. Второе Уголовное Отделение, 2-е делопроизводство.

Вследствие сообщения от 11 сего октября за № 9671 и с

возвращением корреспонденции из газеты „Новое Время": „Обвиняемые по Кишиневскому Погрому", имею честь уведомить Первый Департамент Министерства Юстиции, что в означенной корреспонденции помещены многие обстоятельства, не совсем согласные с действительностью; так, например: в корреспонденции говорится о том, что евреи дали сами повод к драке в день св. Пасхи, и что еврей сбросил с карусель христианскую женщину с ребенком в руках. Ничего подобного в действительности не было. Первоначально об этом ходили слухи, но затем предварительным следствием эти слухи были положительно опровергнуты, о чем мною и было донесено г. Министру Юстиции. Затем, хотя на второй день Пасхи евреи и начали собираться в разных местах вооруженными чем попало, но собирались они не для нападения на христиан, а для самообороны. Лучшим доказательством того, что евреи не нападали на христианские дома, служит погром более 1000 еврейских домов и ни одного христианского. Что же касается до убитых и раненых христиан, то следствием установлено, что убит был один христианский мальчик выстрелом из револьвера, и затем найден был еще труп человека, звание которого не обнаружено, умершего от неизвестных причин. Предварительные следствия об этих случаях были произведены, и дела направлены в Окружной Суд для прекращения, о чем также донесено было г. Министру Юстиции. Из числа раненых христиан никто ни полиции, ни жандармам, ни судебной власти не заявлял жалоб на нанесение им ран евреями, а оказавшиеся у них повреждения они объясняли разными случайными причинами. Между тем, из числа евреев было убито 39 человек и ранено более 300. В корреспонденции, между прочим, указывается на то, что в числе подсудимых, которые должны явиться в суд по делу об антиеврейских беспорядках, указаны только христиане, и ни одного еврея. Но это очень понятно, евреи не нападали на своих единоверцев, и следствие производилось только о нападении христиан на евреев, потому что, как выше сказано, евреи не разоряли имущества христиан. Очень прискорбно, что пред слушанием дела в Судебной Палате появилась подобная корреспонденция, которая старается подорвать доверие к свидетельским показаниям, на которых построено обвинение по делам о Кишиневских беспорядках. До настоящего времени у Судебной власти не было никакого основания предполагать, чтобы евреи умышленно искажали истину и старались представить дело с односторонней стороны. Судебная власть чрезвычайно осторожно относи-

лась к показаниям, как потерпевших, так и свидетелей по этим делам, и доказательством ее беспристрастия при производстве следствия и дальнейшего направления этих дел служат партийные нападки на эту власть, как со стороны евреев, так и христиан. Подробные сведения по делам об антиеврейских беспорядках в Кишиневе и копии всех обвинительных актов по этим делам были представлены мною своевременно в Министерство Юстиции. К изложенному имею честь доложить, что если на Судебном следствии будут обнаружены какие-либо данные, указывающие на евреев, как на лиц, которые могут обвиняться в каком-либо преступлении по делам о беспорядках, то о них будет возбуждено особое уголовное преследование. Возвращать же в настоящее время дело к доследованию я не нахожу достаточных оснований.

Прокурор Судебной Палаты **А. Поллан.**
За Секретаря **(подпись).**

Глава 4

Первые конкретные сведения о погроме Владимир Галактионович почерпнул у коридорного Парижской гостиницы, пока тот провожал его в номер. Коридорным был молодой еврей, вежливый и прилично одетый.

— Что, страшно было? — спросил его Владимир Галактионович.

— Таки ужасно! — ответил тот.

— Но вас, ведь, кажется не тронули?

— Не тронули, слава Богу, потому что здесь один выстрелил из револьвера.

— Что ж, они испугались?

— Они таки не очень испугались, но патруль услышал и прибежал. Они подумали, патруль будет их забирать...

— А разве нет?

— Патруль только стал спрашивать, кто это стрелял, чтобы отобрать револьвер.

— Ну, а во второй день?

— Это было таки во второй день! А в первый, когда сюда подошла толпа, городовому дали рубль, и он им сказал: „Тут христиане, вон там евреи". Они себе и ушли.

Он рассказал, как беременную женщину били дрюками по животу, пока не выбили плод, как насиловали, отрывали руки... Владимир Галактионович подумал, что в этих рассказах, передающихся по городу, должна быть большая доля преувеличений, но записал все в тетрадь, чтобы сопоставить с рассказами иных очевидцев.

С другой стороны погром открылся Владимиру

Галактионовичу в тот же день, когда он отправился в ресторан обедать. Он с интересом вглядывался в улицы незнакомого города, и на каждом шагу натыкался на следы побоища, хотя со времени его прошло уже два месяца. Повсюду еще видны были разбитые окна и двери, попадались горы невывезенного мусора; вывески на магазинах и мастерских резали глаза ядовитой свежестью красок: их, очевидно, только на днях подновляли...

Неожиданно Владимира Галактионовича остановил какой-то старик-молдаванин — высокий, седой, с толстыми седыми усами и толстым носом. Весь облик старика выражал подавленность и несчастье. Он что-то сказал по-молдавски.

— Нушти романешти, — ответил Владимир Галактионович, вспомнив фразу, усвоенную в Румынии, где ему не раз доводилось бывать.

Молдаванин стал говорить по-русски, с трудом подбирая слова. У старика стряслось большое горе. Сына его „взяли солдаты" (очевидно, он был арестован за участие в погроме), а жена сына родила и умерла. Или умер ребенок — Владимир Галактионович не был уверен, что точно понял старика. Было лишь ясно, что дома у него нет ни крошки хлеба и не на что заказать гроб.

— А чем же ты раньше жил? — спросил Владимир Галактионович.

Молдаванин подвигал рукой, показывая, что пилил дрова.

— А теперь что же?

— Теперь нет. Еврей давал работа. Теперь не хочет... После бунта не хочет...

Владимир Галактионович понял, что старик, по-видимому, и сам участвовал в „бунте", его бывший хозяин-еврей это знает и потому выставил его со своего дровяного двора... Старик тупо смотрел на Владимира Галактионовича, и весь вид его выражал какое-то печальное недоумение, словно он решал в своем малопод-

вижном мозгу неразрешимую задачу: почему так странно устроена жизнь? Он совершил геройский подвиг, а вместо награды нажил одно только горе.

Выяснив, что на гроб старику требуется сорок пять копеек, Владимир Галактионович дал ему рубль, и тот пошел все с той же тяжелой заботой в лице, продолжая решать свою непростую задачу.

... С третьей стороны погром открылся на следующее утро, когда, поднявшись пораньше, Владимир Галактионович пошел побродить по базару, хорошо зная, что базар — это сердце любого города, здесь легче и быстрее всего можно его узнать.

Владимир Галактионович видел, как в мелких лавчонках, палатках, у ларей деловито хозяйничали в основном евреи, а толпа покупателей была очень пестрой: в ней можно было встретить и быстрых, нервных евреев, и менее подвижных русских, и украинцев, и медлительных, угрюмых на вид молдаван в широченных шароварах, бараньих шапках и с тем же выражением тяжелой задумчивости на лицах, как у встреченного накануне старика.

Зайдя в одну из лавочек купить конвертов и бумаги, Владимир Галактионович заговорил с продавцом, пока тот заворачивал покупку.

— Ну, у нас только побили окна, — сказал продавец, бледный ссутуленный человек с непропорционально большой головой и впалой грудью.

— А теперь как, все спокойно?

— Что вы, очень неспокойно. Вы разве не слышали: третьего дня закололи молодого человека.

— Нет, не слыхал.

— Это знает весь город! Нисенбаум. Он шел по бульвару. Какие-то трое подступили к нему, один ударил ножом.

— И что же?

— Его спасла книга. В кармане была книга — она задержала. Он ранен, в больнице, но, говорят, будет

жить. Дай-то Бог! — продавец протянул завернутую покупку.

Выйдя из лавочки, Владимир Галактионович купил у мальчишки-разносчика свежий номер „Бессарабца", быстро на ходу проглядел. О происшествии на бульваре в газете не оказалось ни строчки, зато много говорилось о „еврейской наглости" в связи с покушением в Петербурге на Крушевана. Владимир Галактионович подумал, что у страха глаза велики: видимо, нападение на юношу — плод чьего-то воображения. Не может же местная газета, расписывающая давно миновавшее петербургское происшествие, молчать о только что случившемся таком же событии здесь, в Кишиневе. Похоже, что юноше только пригрозили, а молва дорисовала остальное...

Вернувшись в гостиницу, Владимир Галактионович решил проверить то, что слышал в лавочке.

— Таки конечно, — воскликнул коридорный. — Нисенбаума я знаю, он с нашей улицы. Слава Богу, что у него оказалась книжка в кармане, а то не был бы живой. И знаете, что они сказали? „Это тебе за Крушевана!" Чтоб мне таки провалиться на этом месте! Какой-то сумасшедший что-то там натворил в Петербурге, а виноват — Нисенбаум! У них таки всегда так. Если еврей сделает им что-то хорошее, они говорят: „Хотя ты еврей, но ты хороший". А если еврей сделает плохое, все евреи виноваты. Был бы я на месте Нисенбаума, так зарезали бы меня, а вы — так вас. А что вы себе думаете? С вашей бородой вас таки легко принять за еврея. Провались я на этом месте, если...

Владимиру Галактионовичу с трудом удалось остановить этот поток красноречия и скрыться у себя в номере.

Погром стал уже прошлым, историей. Но ядовитые испарения погрома продолжали насыщать атмосферу отравой ненависти и лжи.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА.

Его Высокопревосходительству
Господину Министру Юстиции.

М. Ю.
Прокурор Кишиневского
Окружного Суда.

Копия представления Прокурору Одесской Судебной Палаты от 11 сего мая за № 2315.

Имею честь донести Вашему Превосходительству, что в ночь на 11 сего мая состоящие под надзором полиции Квито, Кузнецов и Дорошевский были задержаны полицией в 5.30 ч. утра за разбитие стекол в типографии, где они, обращаясь к рабочим, говорили: „Вы работаете на Крушевана за 60 к., а мы стоим за народ". По доставлении их в участок, куда вскоре прибыл Управляющий Губернией, Кузнецов и Квито, сидя, не снимая шапок, обратились к нему со словами: „мы не встанем, шапок не снимем и плевать хотим на Вас и Ваши распоряжения". Дорошевский же, хотя и вел себя сдержанно, но также иронически возражал Вице-Губернатору и держал себя вызывающе. По распоряжению Управляющего Губернией все они были отправлены в тюрьму, где ныне содержатся. Управляющий Губернией предполагает войти в соглашение с начальником Губернского Жандармского Управления о возбуждении против означенных лиц производства в порядке положения государственной охраны, а относительно Квито и Кузнецова — сообщить мне для привлечения их к подлежащей уголовной ответственности. Кроме того, так как неблагонадежность всех этих лиц установлена их прошлым и настоящим поведением, явно вредным для государственного порядка и общественного спокойствия, то Управляющий

Упоминаемые в документе управляющий губернией и вице-губернатор — одно и то же лицо: вице-губернатор Устругов, который был назначен временным управляющим губернией в связи с отставкой губернатора фон-Раабена.

Губернией предполагает также войти с представлением к Господину Министру Внутренних Дел о высылке их в одну из отдаленных губерний. О последующем мною будет доложено дополнительно.

Подлинное подписал и с подлинным сверял
Прокурор Окружного Суда **Горемыкин.**

* * *

Совершенно секретно.

Записка по Бессарабскому
Охранному Отделению.

Его Превосходительству
Господину Директору Департамента Полиции.

По только что полученным агентурным сведениям, присяжный поверенный Евгений Семенович Кенигшац (выкрест-лютеранин), проживающий в Кишиневе по Синадиновской ул. в д. № 30, в конце мин. Апреля выбыл в Петербург вместе с еврейской депутацией, во главе которой стоит он. Перед своим отъездом из Кишинева, Кенигшац дал в Петербург на имя князя Мещерского телеграмму, приблизительно следующего содержания: „Коля, я еду в Петербург с депутацией. Приготовь квартиру". Этот же Кенигшац заведует сборами денег, притекающих к нему из разных городов России и даже из заграницы, причем перед своим отъездом, как я уже имел честь доложить Вашему Превосходительству запиской от 24 минувшего апреля за № 434, перевел в Петербург на „Лионский кредит" значительную сумму денег. В настоящее время Кенигшац располагает, как говорят сами же евреи, **„для устройства своих дел"** *суммой, несколько более одного миллиона рублей. К изложенному обязываюсь присовокупить, что вышеназванная квартира Кенигшаца проходит по наблюдению вверенного мне Охранного Отделения, как посещаемая многими выдающимися наблюдаемыми, а его дочь Надежда, 18 л., известна под кличкой „Красная".*

О вышеизложенном имею честь доложить на благоусмотрение Вашего Превосходительства.

Ротмистр Барон **Левендаль.**

№ 542.
8 мая 1903 г.
г. Кишинев.

Глава 5

Интересы гражданского иска на будущем суде над громилами вызвались представлять лучшие адвокаты страны. Среди них товарищ Владимира Галактионовича по процессу над удмурдами Карабчевский, другой его хороший знакомый, не раз защищавший его литературные интересы, Грузенберг, крупные юристы Зарудный, Турчанинов, Кальманович, Винавер...

Формально их задача сводилась к тому, чтобы добиваться возмещения пострадавшим материального ущерба, но адвокатов привлекал в этом деле не копеечный интерес потерпевших. Они надеялись вскрыть закулисную механику погрома, а значит, использовать зал суда для еще одного сражения за законность.

Для подготовки к процессу в Кишинев приехала бригада их помощников. Опрашивая потерпевших и свидетелей, молодые адвокаты фактически вели свое следствие — параллельно с официальным. Они сняли особняк на Пушкинской улице, в котором жили и работали. Владимир Галактионович запасся их адресом еще в Полтаве и нанес им визит сразу же по прибытии в Кишинев.

Возглавлял группу Николай Дмитриевич Соколов, высокий сдержанный молодой человек, немногословный для адвоката, но отличавшийся большой деловитостью. Он обещал подобрать наиболее характерные показания свидетелей, и когда Короленко пришел вторично, выложил перед ним несколько папок с материалами.

Открыв первую из них, Владимир Галактионович

узнал, что за две недели до пасхи в Кишинев были доставлены тюки с прокламациями, призывающими „бить жидов". Кроме того, были целые склады со специально приготовленными короткими ломами — их раздавали перед началом погрома.

Усиленно распространялись слухи, будто царь разрешил три дня бить и грабить евреев; будто не только в Дубоссарах, но и в самом Кишиневе было несколько ритуальных убийств; будто евреи надругались над христианской верой, осквернили церкви.

Толпа была разбита на небольшие группы. Во главе каждой стоял предводитель, имевший списки „подопечных" еврейских домов... Все это говорило об одном: погром не был внезапной вспышкой страстей, он был заранее спланирован и подготовлен.

Открыв другую папку, Владимир Галактионович окунулся в атмосферу официального следствия. Он увидел, что оно вовсе не стремится вскрыть истину, как обязывал следователей их профессиональный и нравственный долг. Напротив, они делали все возможное, чтобы замолчать или извратить самые важные факты.

Владимир Галактионович читал показания некоего Толмасского. Тот был ранен во время погрома и помещен в больницу, где его допрашивал следователь Прекул. Толмасский рассказал ему, как было дело, и упомянул, что толпу подстрекал человек в мундире судейского ведомства. Но, не смотря на настояния потерпевшего, Прекул не стал записывать это показание. Тогда Толмасский отказался подписать протокол допроса.

Его показания подтверждали врач и две сестры милосердия: во время допроса Толмасского они находились в палате. Они тоже настаивали, чтобы следователь полностью записал показания пострадавшего, но тот на это лишь пожаловался руководившему следствием чиновнику Фрейнату, что „ посторонние мешают вести дознание".

Фрейнат вел допрос в соседней палате. Он тотчас явился и велел „посторонним" удалиться. Однако одна из сестер милосердия, госпожа Неручева, отказалась освить больного. Она потребовала уже от Фрейната внести в протокол пропущенную часть показаний, на что тот ответил, что не может вмешиваться в действие другого следователя...

Потерпевшего Фишмана допрашивал тот же Прекул. Фишман указал на участие в погроме нотариуса Писаржевского, которого он узнал в лицо как предводителя одной группы громил. Но вместо того, чтобы записать это показание, Прекул опять пошел к Фрейнату.

— Плюньте в его жидовскую морду, если он показывает на Писаржевского! — вскипел Фрейнат.

Он вошел в палату и стал кричать:

— Я тебя, жидовская морда, законопачу в Сибирь, если будешь показывать на Писаржевского!

Фишман ответил, что погромом разорен до тла, и в Сибири ему будет не хуже. После долгих препирательств Фрейнат все-таки занес его показание, но только — карандашом, хотя остальное было записано чернилами...

Характерными показались Владимиру Галактионовичу и свидетельства потерпевшей Родзивиллер. Она еще раньше заявляла, что видела и слышала, как натуриус Писаржевский подстрекал толпу. На допрос к капитану Демиденко, специально присланному из Петербурга, она привела шестерых человек, готовых подтвердить то же самое. Однако у Демиденко они застали... самого Писаржевского.

Не готовые к очной ставке, некоторые из свидетелей смешались. Но двое из шести осмелились стоять на своем. Демиденко стал кричать, топать ногами, затем позвал жандармов и велел их вывести. Родзивиллер при таких условиях отказалась участвовать в дознании, и ее тоже вывели жандармы.

— Сколько же должно быть таких потерпевших, у кого не хватило твердости, и они подписывали протоколы в том виде, как того хотели следователи! — прос-

мотрев бумаги, обратился Короленко к Соколову.

— Об этом мы можем только догадываться, — сдержанно ответил Соколов. — Несомненно лишь то, что их было бы меньше, если бы не странная позиция местного присяжного поверенного Кенигшаца. Он уговаривает потерпевших быть покладистыми и не спорить со следственной властью.

— Это не тот ли Кенигшац, что входил в еврейскую депутацию, которую принял Плеве? — поинтересовался Владимир Галактионович.

— Он самый. Он один из самых известных людей в городе, и вот на что употребляет свое влияние.

— А вы уверены, что когда таким несговорчивым людям как Фишман или Родзивиллер удается настоять на своем, в их показания не вносятся поправки уже после подписания? — поинтересовался Владимир Галактионович.

— Я бы сказал, что уверен в обратном, — сдержанно ответил Соколов. — Почти все следственное дело состоит из подлогов и подчисток. Точь-в-точь как в погромных процессах восьмидесятых годов. Мы их изучили и выявили единую тактику, какой тогда держалось обвинение. Оно стремилось снять вопрос об общих причинах погромов, о бездействии власти, о предварительной подготовке и организации, стремясь изобразить дело таким образом, что погром — это всего лишь стихийная вспышка страстей, вызванная еврейской эксплуатацией. По тем же рельсам хотят направить и будущий Кишиневский погром.

— Такой тактики можно было ожидать, — заметил Владимир Галактионович.

— Конечно, — согласился Соколов, — но одно дело — ожидать, и другое — получить твердые юридические доказательства.

— Тут из бумаг видно, что капитан Демиденко прислан министерством внутренних дел, то есть самим Плеве. Я вот о чем хотел бы спросить. Что говорят ваши материалы о бездействии властей во время пог-

рома? Играла ли тут роль инструкция центра, или попустительство явилось лишь результатом растерянности? Об этом ходят разные толки, хотелось бы знать, каковы ваши данные?

— Вы имеете в виду секретную телеграмму Плеве губернатору, что опубликована в „Таймс"? — уточнил Соколов. — Как вы понимаете, подлинником этой телеграммы мы не располагаем. Но вот что вам должно быть интересно. Растерянность местных властей была... как бы точнее сказать... односторонней. В обществе уже укрепилось мнение, что губернатор и его подчиненные были застигнуты врасплох и совершенно бездействовали. Но это не совсем так. Мы готовим иски непосредственно к губернатору, вице-губернатору и полицмейстеру. Есть такая статья в законе: если убыток причинен вследствии бездействия власти, то потерпевший может требовать возмещения ущерба непосредственно от представителей власти. На основании этой статьи мы и возбуждаем дела. Иски, конечно, будут отклонены, но нам они позволят во всей полноте показать роль властей в этом деле. Между прочим, и то, что они по-своему готовились к погрому и принимали меры.

— Это что-то совсем неожиданное, — заинтересовался Владимир Галактионович. — Пожалуйста, осветите эту сторону подробнее.

— Все эти материалы сейчас изучает Винавер, он только вчера специально для этого приехал из Петербурга. У него мало времени, но вам он, конечно, уделит столько, сколько потребуется.

— Так здесь сам Винавер! — удивился Короленко.

— Он знает о вашем приезде и рад будет встретиться.

Максим Моисеевич Винавер, невысокий, широкий в кости, с крупной лысеющей головой, был известен по ряду громких гражданских процессов, но все еще пребывал в звании „помошника присяжного поверен-

ного". Впрочем, в таком же положении находились и другие выдающиеся адвокаты-евреи. Доступ в сословие присяжных поверенных был для них настолько ограничен, что часто до старости они числились у кого-то в помощниках, хотя слава их гремела на всю Россию.

— Самое любопытное произошло еще до погрома, — порывисто пожав руку Владимиру Галактионовичу, заговорил Винавер. — Губернатора за две недели и несколько раз позднее предупреждали о надвигающейся опасности, он заверил еврейское общество, что примет надлежащие меры. Сейчас он уверяет, что этим предостережениям не придал значения, так как подобные слухи и раньше возникали перед пасхой. Но меры все же были приняты. Так, полицмейстер обеспокоился за своих подчиненных и распорядился доставить во все полицейские участки кровати, чтобы полицейским было на чем отдыхать, когда их придется задержать на службе на ночь. Следовательно, такая возможность предполагалась — подробность, согласитесь, прелюбопытная, если учесть, что теперь выдвигается версия, будто власти ни о чем не догадывались. Теперь обратимся к первым часам погрома. Губернатор в эти часы вовсе не бездействовал. Он, например, потратил массу усилий, чтобы обеспечить охрану банка и кредитных учреждений, хотя на них никто не нападал. Он много работал над тем, чтобы заблаговременно подготовить достаточное количество камер для будущих арестантов, заботясь о том, чтобы тем, не дай Бог, не пришлось дожидаться под открытым небом на тюремном дворе. Он вспомнил с такой же заботливостью, что арестованных надо будет кормить, и обратился по телефону в хлебопекарню, чтобы немедленно достать хлеба. И много других подобных же дел проделал губернатор фон Раабен. На одно только его не хватило: когда били евреев, он не подумал о том, что прежде всего должен не дать бить евреев! На это простое человеческое движение не хватило высшего представителя местной власти.

Винавер говорил спокойно, изредка заглядывая в бумаги и сопровождая слова решительным жестом.

— Благодаря работе, проделанной коллегами, — Винавер указал в сторону Соколова, — все действия губернатора с начала погрома нам известны по часам и почти по минутам. В пять часов дня ему позвонили и сказали, что погром начался. Он немедленно велел заложить коляску и немедленно же потребовал к себе на губернаторский двор эскадрон кавалерии и роту пехоты. Коляска въехала, войско прибыло. Фон Раабен позвонил полицмейстеру Ханженкову и, узнав, что тот где-то в городе, повесил трубку. С этого и началось его знаменитое бездействие. Он считал, что ему незачем гарцевать на лошади перед толпой и демонстрировать дешевую храбрость. Ему целесообразнее сидеть у телефона и ждать известий о ходе событий со всего города, тогда как расставшись с телефоном, он мог бы быть только в одном месте. О том, что лучше быть в одном месте, чем нигде, он как-то не подумал. Он, видимо, предполагал, что на каждом перекрестке и в каждом дворе, куда проникнут громилы, они протянут за собой телефонные провода и установят телефонные будки, и рука убийцы не поднимется на убиваемого, прежде чем он не доложит о том по телефону губернатору. Громилы почему-то поступали иначе и не встречали никакого противодействия. То же самое повторилось и на второй день. Жалкие попытки организовать самооборону, к которой пытались прибегнуть евреи после тревожной ночи, были немедленно пресечены полицией. Для этого в наличии оказались и силы, и энергия, и распорядительность, то есть все то, чего не было, когда нужно было усмирять громил.

Винавер остановился перевести дух. От той сдержанности, с какой он начал говорить, не осталось и следа.

— Вы сказали обвинительную речь, — улыбнулся Владимир Галактионович.. — И хорошо сказали, я

прямо заслушался.

— Действительно, я немного увлекся, — согласился Винавер. — Не взыщите, Владимир Галактионович, это особенности характера. Национального характера, я бы сказал. Горячность, порой неуместная, — черта, очень свойственная евреям. Думаю, вы это не раз замечали сами. Прибавьте излишнюю прямолинейность и сможете многое объяснить в еврейском характере. Евреи слывут хитрыми и изворотливыми, они даже сами часто верят в это. А знаете, отчего такая репутация? Именно оттого, что это самый прямолинейный и простодушный народ.

— Ну, это уж что-то слишком парадоксальное, — скептически усмехнулся Короленко.

— И тем не менее это так! — воскликнул Винавер. — Вы, вероятно, помните спор о справедливом и несправедливом в „Государстве" Платона. Там доказывается, что чем человек коварнее, тем успешнее он скрывает свои злодеяния и даже выдает их за доблестные поступки, почему его и почитают как человека справедливого. Тот же, кто справедлив по-настоящему, а не по видимости, неизбежно бывает оклеветан и ненавидим как человек коварный и несправедливый.

— Это действительно, одно из самых интересных размышлений у Платона, но согласиться с его диалектикой я никак не могу, — решительно возразил Владимир Галактионович. — Правда всегда побеждает, если только имеется возможность ее высказывать.

— Я думаю так же, как и вы, иначе я не сделался бы адвокатом, – ответил на это Винавер. — Но заметьте вашу же оговорку: „если ей дают высказываться!" А часто ли бывало на протяжении истории, чтобы еврейский народ мог высказывать свою правду и чтобы ее к тому же желали слушать! Вот и получилось, что народ, впервые давший миру религию, основанную на началах справедливости и добра, объявлялся безбожным и развратным. Народ, в силу религиозного запрета не употребляющий в пищу никакой крови, обвинялся

в употреблении человеческой крови. Народ, который в силу своего рассеяния активнее всех других общается с другими народами, обвиняют в кастовой замкнутости. Народ, давший миру особенно много реформаторов и преобразователей в области религии, философии, науки, словом, в области духа, обвиняют в косности и консерватизме. Наконец, самое нелепое: всюду гонимый и порабощаемый, он обвиняется в том, что порабощает весь мир... Но кажется я опять стал горячиться, — перебил себя Винавер, и продолжал уже сдержанным тоном. — Возьмите маленький пример — еврейский рационализм, в котором, кажется, никто не сомневается. Ну, можно ли представить себе большую иррациональность, чем у еврея, который упорно держится за свою религию, хотя чисто формальное принятие христианства немедленно освободило бы его от всех столь тягостных ограничений? О полуобразованной местечковой массе можно думать, что она подвержена религиозному фанатизму и полагает, что за отказ от вековых традиций ее покарает Бог. Но ведь этого не скажешь об интеллигентах. Большинство из них равнодушно к ритуалу, а многие и вообще к религии. Скажу о себе: я иудей только формально. Казалось бы, для меня перейти в лютеранство или православие ничего не стоит. Между тем, это сразу обеспечило бы мне звание присяжного поверенного, к чему стремится всякий адвокат. Но я этого никогда не сделаю. Что-то сопротивляется внутри. Не был бы я гоним за иудейскую веру, может быть, и отказался бы от нее. А пока гоним — нет, извините. Других, кто решается на такой шаг, я не осуждаю, но сам — не сделаю. Никак обосновать это не могу — чистая иррациональность. И ведь те, кто переступают через нее — считанные единицы. Между тем, не только юдофобы, но и юдофилы считают евреев трезвыми, расчетливыми рационалистами. Разница лишь в том, что одних эти качества возмущают, а других восхищают, но ни те, ни другие не замечают, что это легенда. Почему же вас удивляет, что хитроум-

ными и коварными мы прослыли именно из-за излишней прямоты? Даже мошенничают евреи очень прямолинейно — это можно видеть из многих уголовных дел. Ну, а честный еврей, докопавшийся до какой-нибудь истины, — не приведи Господи иметь с ним дело. Сразу начнет стулья ломать! Он будет размахивать руками до тех пор, пока его не свяжут. Образчик такого субъекта вы видите перед собой.

— Пока что я вижу, — засмеялся Владимир Галактионович, — что вы умеете иронически относиться к самому себе.

— О, ирония, — это, кажется, единственное оружие самозащиты, какое еще не отнято у евреев... Но вернемся к делу, Владимир Галактионович, ведь моя обвинительная речь еще не кончена. Мы остановились на том, что фон Раабен сел у телефона и спокойно ждал докладов. Его безразличие и апатия распространились вниз по административной лестнице, охватили всех его подчиненных и проявлялись у каждого сообразно культурности. Вице-губернатор Устругов и полицмейстер Ханженков не сидели взаперти — они были на улице. Но ни словом, ни делом даже не пытались утихомирить толпу. Они наблюдали и ждали. Приставы и их помощники уже поощрительно покрикивали: „Бейте, ребята! Идите дальше!" А нижние чины полиции охраняли громил и даже сами участвовали в нападениях... Теперь возникает вопрос, а могла ли администрация не допустить бесчинств или прекратить их в самом начале? Могла! На этот счет собраны ясные доказательства. Генерал-лейтенант Бекман, начальник местного гарнизона, свидетельствует, что только в 10 часов утра седьмого апреля получил от губернатора первую записку с требованием держать наготове войска. Записка эта запоздала, потому что Бекман еще накануне отдал такой приказ. Войска были наготове, но бездействовали, потому что по закону они могут вмешаться только по требованию гражданской власти. В половине первого седьмого апреля Бекман вышел на улицу и, убедив-

шись, что в городе идет форменная резня, поехал к губернатору по собственной инициативе. Они составили план действий, разделили город на участки, наметили, как разместить войска. Но и после этого губернатор продолжал медлить с официальным вызовом войск. Наконец в три часа губернатор приказал начальникам полков занять город и при этом передал им всю полноту власти с правом наделять ею так же своих подчиненных, которые сами должны были решать, в каких случаях употреблять оружие. Так самое страшное орудие своей власти, вопрос о жизни и смерти людей, губернатор передал другим. Между тем закон гласит, что и после вызова войск только гражданское начальство может отдать приказ о применении оружия. Фон Раабен законом пренебрег, и можно считать чудом, что военные не разнесли весь город. Только часа через два губернатор сообразил, что в ответственные моменты особенно важно единоначалие. Но и тогда он не взял руководство на себя, а передал его генералу Бекману. Как только это произошло, наступила развязка кровавой драмы. За полтора часа войска прекратили погром, не произведя ни единого выстрела. Все это нужно было сделать ровно на сутки раньше, тогда не было бы такого разгрома и человеческих жертв. Ну, вот, Владимир Галактионович, теперь, кажется, я сказал все...

Задав еще несколько вопросов Винаверу и Соколову, Короленко стал прощаться, но тут его окружила вся группа адвокатов. Оказалось, что в другой комнате накрыт чай, и о том чтобы так вот уйти, не может быть речи.

За столом завязалась общая беседа. Владимир Галактионович рассказал о прошлогодних волнениях крестьян на Полтавщине, о суде над ними, о подробностях инцидента, вызванного избранием в почетные академики Максима Горького, а затем отменой этого избрания по указанию царя.

— Почему же другие академики, кроме вас и Чехова, не вышли в отставку? — спросил кто-то из адвокатов

— А знаете, что сказал мне Владимир Васильевич Стасов, когда по моему требованию собрали совещание Отделения литературы? — откликнулся Владимир Галактионович. — Сначала он накинулся на меня: своим заявлением я-де ничего нового не сказал. Первый раз что ли у нас происходит подобное? Я возразил, что в такой форме именно первый раз, во всяком случае за те годы, что я имею честь быть членом академии. Государь у нас самодержавный, он вправе утвердить или не утвердить любое решение. Если бы он отменил выборы своей волей, меня бы это не касалось. Но в данном случае отмена объявлена от имени самой академии. Получается, что я отменил свое собственное решение, и только потому, что Горький в чем-то заподозрен Департаментом полиции. Но если так, то мы не могли бы выбрать Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Тургенева — все они были на подозрении. Кроме того, я имею личные основания протестовать, так как сам много страдал от подозрений и административного произвола. И вот когда совещание кончилось, Стасов подошел ко мне, пожал руку и с присущей ему грубоватой прямотой сказал: „В сущности, вы правы, после такой бесцеремонности всем следовало выйти в отставку, а если не выходим, то только по российскому свинству".

Поздно вечером Короленко покинул гостеприимный особняк, где чувствовал себя как в семейном кругу, потому что этот был круг единомышленников. До гостиницы было рукой подать, но его наотрез отказались отпустить без провожатых. Медленно шли они втроем — Короленко и два молодых адвоката — по темным улицам затихшего города. После знойного дня дышалось легко. Огни редких газовых фонарей отражались в лужах, оставленных прошумевшим коротким дождем.

— Сколько у нас искренних честных людей, готовых бороться за правду каждый на своем месте, — отзываясь на какие-то свои мысли, сказал Короленко.

— И сколько по-настоящему ярких талантов, которым проклятые порядки не дают расцвести! Ведь в какой-нибудь Франции или Швейцарии такой человек как Винавер, заседал бы в парламенте, — заметил один из провожатых.

— А ведь знаете, Владимир Галактионович, что меня больше всего поражает? — спросил другой адвокат. — Полная неспособность государственных мужей мыслить по-государственному. О Сипягине говорили, что он туп и бездарен и ему следовало бы быть уездным предводителем дворянства, а не управлять империей, но вот Плеве слывет за умного человека. Так зачем ему эти ограничения? Рано или поздно все равно придется их отменить, почему же не сделать это самим, сверху, не восстанавливая против себя все общество? Но власти как огня боятся любой уступки, полагая, что этим покажут свою слабость. А ведь именно тупое упрямство говорит об их слабости. Вы, конечно, знаете последнее заявление государя о злополучном еврейском вопросе? „Я не враг евреев, но если мы предоставим им равные права, они приобретут слишком большое влияние". Почему же слишком большое, если права будут равные? И как он не понимает, что подобными заявлениями оскорбляет свой собственный народ, выставляя его неспособным на равных конкурировать с инородцами.

— Ну, в этом нет ничего удивительного, — отозвался Владимир Галактионович. — Ощущение собственной неполноценности — отличительная черта юдофобов, в том числе и венценосных. При этом собственную неполноценность они склонны приписывать всему народу, от чьего имени якобы выступают. Кто-то из видных англичан очень просто объяснил, почему в Великобретании антисемитизм не может пустить глубоких корней: мы, говорит, не считаем, что евреи умнее и предприимчивее нас.

У гостиницы Короленко сердечно распрощался

с адвокатами, а когда вошел в вестибюль, к нему тотчас подскочил коридорный.

— Таки есть для вас новость, господин Короленко! Провалиться мне на этом месте, если не так. Господин Ашешов каждые пять минут спрашивает о вас. Боится. что вы ляжете спать, и он не сможет с вами поговорить. Я таки говорю: „Что вы волнуетесь? Я понял и все передам!" А он говорит: „Ты забудешь!" Как вам это нравится? Мне платят деньги, чтобы я все помнил, так чтобы я забыл! Разве я похож на тех, кому даром платят деньги? Что вы на это скажете?

Не заходя к себе, Владимир Галактионович направился в номер к Ашешову.

— Не знаю, Николай Петрович, зачем я вам так срочно понадобился, но раз вы не спите и поджидаете меня, задам вам один вопрос, — войдя и поздоровавшись, сказал Короленко. — Вы, вероятно, встречались здесь с присяжным поверенным Кенигшацем. Адвокаты отзываются о нем очень неодобрительно, и мне хотелось бы знать ваше мнение: что он собой представляет?

— Так из-за этого самого Кенигшаца я и боялся вас проворонить! — воскликнул Ашешов. — Он мне проходу не дает: требует непременно вас к нему привести.

— Но я думал завтра уезжать, поезд уходит утром, — с сомнением ответил Короленко. — Для подцензурного очерка у меня материала выше головы.

— Он как раз и боится, что вы уедите, не встретившись с ним.

— А вы полагаете, есть смысл задержаться?

— Не полагаю, а убежден, — решительно проговорил Ашешов. — Вопрос лишь в том, позволяет ли вам ваше время провести в Кишиневе еще один день. Это личность во многих отношениях примечательная, но говорить о нем я вам ничего не буду, лучше убедитесь сами.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА

Перевод с английского *

Частным образом и конфиденциально.

Виндмилл Хилл.
Хемстэд.

Лондон.
20 мая 1903 года.

Его Превосходительству фон-Плеве,
Министру Внутренних Дел в С.-Петербурге.

Ваше Превосходительство.

Вы, может быть, помните, что в 1891 и 1892 гг. я посетил Россию в защиту барона Гирша и его Еврейской Колонизационной Ассоциации. При этом Ваше Превосходительство проявили в отношении меня большую любезность, снабдив меня рекомендательными письмами ко всем Губернаторам провинций и начальствующим. Во время моих путешествий я узнал много вещей относительно евреев, которые я принял к сердцу и постарался рассказать моим землякам, почему и навлек на себя злейшую враждебность со стороны многих евреев в этой стране. Теперь я обращаюсь к Вашему Превосходительству с той целью, чтобы воспрепятствовать, если возможно, искусственному созданию здесь общественного мнения, враждебного внутренней русской политике и основанного на неточных сведениях, сообщенных, вероятно, русскими евреями, которые извращают факты. Я осмеливаюсь приложить вырезку из Таймса от 18 текущего мая и обратиться к Вашему Превосходительству с вопросом, есть ли сколько-нибудь правды в этом известии. Из того, что означенный госу-

---

* Этот и последующие переводы сделаны переводчиком Департамента Полиции.

дарственный документ был, очевидно, украден, можно вывести, что письмо это подложно. Я был бы очень рад, если бы мог сказать своим землякам, что письмо это — выдумка, и что от него отказались. Я мог бы сделать это частным образом, при помощи прессы, и достигнуть этим поворота в общественном мнении. Теперешний лорд-мер гор. Лондона — еврей. Огромное число английских газет принадлежат теперь евреям на праве собственности, в то время, как на континенте пресса, как Вашему Превосходительству известно, находится главным образом в руках евреев. Уроки, почерпнутые мною в России, открыли мне отношение России к еврейскому вопросу, которое я считаю логичным и, с русской точки зрения, патриотичным.

Вашего Превосходительства покорнейший слуга
Арнольд Уайт.

* * *

Выписка из газеты Таймс, от 18 мая 1903 г.

Антисемитические неистовства в Кишиневе.

Русский корреспондент прислал нам подлинный текст конфиденциального отношения, посланного русским Министром Внутренних Дел к Бессарабскому Губернатору незадолго перед тем, как вспыхнули в Кишиневе антисемитические беспорядки с такими гибельными последствиями. Вот дословный перевод этого замечательного документа:

Министерство Внутренних Дел.
Канцелярия Министра.

Совершенно секретно

Бессарабскому Губернатору.

До сведения моего дошло, что во вверенной Вам губернии приготовляются обширные беспорядки против евреев, которые эксплуатируют, главным образом, местное населе-

ние. В виду всеобщего беспокойного настроения среди населения городов, каковое настроение ищет себе выхода, а также в виду несомненной нежелательности внедрения, при помощи чересчур строгих мер, антиправительственных чувств населению, которое еще не охвачено революционной пропагандой, Ваше Превосходительство не преминет способствовать немедленному прекращению могущих возникнуть беспорядков при помощи увещаний, отнюдь не прибегая однако к помощи оружия.

Фон-Плеве.

№ 341
Марта 25 дня. 1903 г.

Черновик письма Уайту, написанный почерком Начальника Департамента Полиции А.А. Лопухина.

М. Г.

Вследствие письма от 20 минувшего мая, по поручению Г. М-ра Вн. Д., имею честь уведомить Вас, что сведения, заключающиеся в вырезке из газеты „Таймс" от 18 мая, представляются безусловно вымышленными; письма от имени г. М-ра Вн. Д. Бессарабскому Губернатору, приведенного содержания, не существует, и никакого сообщения с предупреждением бессарабских властей о готовящихся беспорядках не было.

Примите, М.Г. и т.д.

Г. Уайту.
Виндмилл Хилл. *Хемстэд.* *Лондон*

№ 7097.
13 мая 1903 г.

Глава 6

Присяжный поверенный Кенигшац имел обширную практику, получал высокие гонорары и жил роскошно. Это бросалось в глаза еще с улицы, так как он занимал один из лучших в городе частных домов. В обширной приемной его было много бархата, бронзы, на стенах висели дорогие картины. Однако Владимир Галактионович не успел как следует разглядеть все это великолепие, потому что едва о них доложили, как хозяин пулей вылетел из кабинета, сияя белозубой улыбкой и сверкая бриллиантовыми запонками в белоснежных манжетах.

— Какое счастье! Подумать только, у меня в гостях сам Короленко! Такая честь! Такая высокая честь! Я буду об этом внукам рассказывать! Господин Ашешов, я ваш вечный должник. Благодаря вам я имею честь принимать самого Короленко...

Провожая гостей в кабинет, Кенигшац не скупился на выражение восторга.

Это был мужчина средних лет, среднего роста и среднего телосложения, с несколько помятым, но тщательно выбритым лицом и обширной плешью, окантованной коротко подстриженными, уже припудренными сединой волосиками. Его шумные восторги казались избыточными, в голосе и жестах чувствовалась некоторая театральность.

Кенигшац усадил гостей в мягкие кресла и открыл коробку с дорогими сигарами, от которых оба посетителя отказались.

— А я закурю, если вам это не помешает, — сказал Кенигшац, и его превосходно обставленный кабинет наполнился тонким ароматом первосортного табака.

— Прежде всего, господа, разрешите мне от имени всего местного еврейского общества выразить вам искреннюю благодарность за то, что вы удостоили посещением наш многострадальный город. Ваш приезд служит нам большой моральной поддержкой и говорит о том, что мы не одиноки в постигшем нас несчастье. Все еврейское общество желает вам успеха и готово оказать всяческое содействие.

Гладкие, словно заученные фразы Кенигшац произносил с большой торжественностью, будто выступал в суде или на собрании. Короленко бросил короткий взгляд на Ашешова, тот еле заметно подмигнул.

— Господин Кенигшац! — в тон хозяину кабинета заговорил Ашешов. — Сидящий перед вами Владимир Галактионович Короленко, как вам хорошо известно, один из самых знаменитых русских писателей.

— О, конечно! — Кенигшац прижал руки к сердцу.

— Однако этот знаменитый писатель, — продолжал тем же тоном Ашешов, — и сейчас я скажу то, что вам, по-видимому, неизвестно, терпеть не может никаких славословий, особенно по собственному адресу. Через месяц ему будет пятьдесят лет, вся Россия готовится к этому празднику, он же намерен удрать, исчезнуть с глаз, чтобы избежать чествований. И даже мне не говорит, куда удерет, хотя знает меня много лет, и я думаю, не подозревает, что я могу его выдать. Таков характер — это я вам со знанием дела говорю.

— И потому нам следует без всяких церемоний приступить к делу, не так ли? — сразу изменив тон, спросил Кенигшац.

— Я уже говорил Владимиру Галактионовичу,

что вы человек большого ума и понимаете все с полунамека, — ответил Ашешов, почти не скрывая насмешки.

— Ваш намек понять нетрудно, — сделав вид, что не заметил иронии, ответил Кенигшац. — Итак, господа, я к вашим услугам.

— Вы были очевидцем того, что произошло здесь шестого и седьмого апреля. Мы хотели бы услышать от вас как можно больше подробностей, — попросил Короленко.

— Что вам сказать? — лицо Кенигшаца потускнело и как-то сразу состарилось. — Это была варфоломеевская ночь среди бела дня. Страшно было даже не то, что беззащитных людей мучали и убивали, а то, что это делалось с таким цинизмом, на глазах всего города... В доме номер тринадцать по Азиатской улице вы были?

— Имели удовольствие, — коротко ответил Короленко.

— А на Гостиной тридцать три?.. Нет?.. Там было еще ужаснее. Там крепкие тесовые ворота, громилы не могли их взломать, но они ворвались через соседний дом. Жильцы бросились кто куда, но не все успели попрятаться. Старуху Рейзель Кацап схватили во дворе и долго истязали а потом убили на глазах ее внука. Мальчик сидел на чердаке, все видел через слуховое окно, но боялся крикнуть, чтобы не обнаружить себя. Несколько человек спрятались в клозете, но их там нашли. Пятнадцатилетнего реалиста Беньямина Барановича били дубинами по голове, пока не прикончили, а отца его Симона Барановича заставили на все это смотреть. Мальчик кричал, просил пощады, помощи, а отец стоял рядом, но не шевелился, потому что убийцы говорили ему: „Не смей тронуться с места, а то мы и тебя убьем, как собаку". И убили бы следом за сыном, но в этот момент пришли солдаты и крикнули: „идите дальше, ребята; здесь достаточно сделали".

— Значит солдаты не мешали громилам? — задал Короленко тот главный вопрос, который волновал в те дни общественность России да и всего мира.

— Ни солдаты, ни полиция, ни местная власть не противодействовали погрому, но я не хотел бы акцентировать на этом внимание.

— Почему же? Неужели вы, как юрист, не заинтересованы в том, чтобы истина была раскрыта во всей полноте?

— Истина!? — вдруг каким-то петушиным фальцетом выкрикнул Кенигшац. — Вам известно, где истина? В таком случае, вы счастливейший человек! А вот я не знаю, что такое истина и где ее искать!

Кенигшац вскочил, нервно заходил по кабинету, потом снова уселся за свой роскошный, мареного дуба, письменный стол, заговорил спокойнее.

— Постарайтесь меня понять, господа писатели, а то меня и так уже обвиняют в трусости и чуть ли не в ренегатстве. Не знаю, почувствовали ли вы это, но мы, коренные кишиневцы, не перестаем ощущать грозовой атмосферы. Население озлоблено, каждый день может разразиться новая катастрофа, и кто поручится, что она не будет во сто крат ужаснее первой. А с этим не все хотят считаться. Вы знаете, я имею в виду столичных адвокатов, готовящих материалы к процессу. Я их всех уважаю, это честные бескорыстные люди и у них прекрасные побуждения. Но в таком сложном деле хороших намерений мало — ими вымощена дорога в ад. Надо чувствовать местную обстановку, они же не желают с ней считаться. Не думайте, господа, что во мне говорит профессиональная ревность. Мне предлагали самую видную роль на скамье гражданских истцов, но мы вместе решили, что будет целесообразнее, если я выступлю на суде как свидетель. Они хотят разоблачить полицию, пригвоздить к позорному столбу губернатора и даже господина министра, но этим они только раздувают еще не погасший пожар. Власти

сами знают, какую роль они вольно или невольно сыграли, и сейчас стараются снять напряжение, всех поскорее утихомирить. Зачем же им в этом мешать? Губернатора под суд все равно не отдадут, а вот новый погром может вспыхнуть в любую минуту. Надо поскорее погасить страсти, ввести жизнь в нормальное русло. Власти хотят того же, так зачем их озлоблять?

Столь неожиданная точка зрения озадачила Владимира Галактионовича. Подумав немного, он сказал:

— В прошлом году, когда в Полтаве судили бунтарей-крестьян, местные адвокаты тоже не смогли найти общего языка со столичными. Крестьян, как вы знаете, сразу же после усмирения мятежа подвергли жестокой порке. Еще до следствия, до суда, как у нас, увы, нередко бывает. И вот на суде председатель запретил касаться этого щекотливого вопроса. Адвокаты же ссылались на статью закона, которая запрещает дважды наказывать за одно и то же преступление. Доказать, что подзащитные уже понесли наказание, значило избавить их от каторги. Но именно об этом судья запретил говорить. Столичные адвокаты настаивали на том, что в знак протеста все защитники должны покинуть зал заседания. Местные же, напротив, полагали, что надо заявить протест, но остаться, чтобы хоть в какой-то мере помогать подзащитным. Такие вот разногласия. Совещания адвокатов проходили в моем доме, и я невольно участвовал в дебатах. Я, конечно, понимал, что демонстративный уход всей защиты произвел бы огромное впечатление на общество. Карабчевский сам в процессе не участвовал, но внимательно следил за всем его ходом из Петербурга. Он даже прислал мне телеграмму, прося поддержать столичных адвокатов. Но я твердо взял сторону местных, так как считаю, что интересы отдельного человека не должны приноситься в жертву общим соображениям, даже очень важным и благородным. Вся наша

деятельность и борьба потеряют смысл, если великие цели заслонят собою слезы и кровь отдельной личности. Но с этой точки зрения, мне кажется, вы не правы, господин Кенигшац. К суду должны быть привлечены, в первую очередь, те, кто подготовил погром и ему попустительствовал. Нельзя позволить свалить всю вину на кучку темных людей, которые оказались всего лишь слепым орудием чужой воли.

— Говоря так, господин Короленко, вы исходите из высших принципов. Я это ценю и уважаю. Но нельзя забывать конкретных местных условий, — настаивал Кенигшац. — Добиваться сейчас того, о чем вы говорите, значит только раздувать пожар. Точку зрения Плеве вы знаете?

— Знаем из газет, но хотели бы услышать подробнее от вас, ведь вы были у него как раз в связи с погромом.

— Да, еврейское общество меня удостоило чести. Нашу депутацию возглавлял господин Гринберг — это крупный одесский коммерсант, но мы условились, что в основном говорить буду я, как более опытный оратор. Что вам сказать? Мы держались очень почтительно и выставили самые скромные требования, да и те облекли в форму нижайшей просьбы. Я сказал господину Плеве, что евреи чувствуют себя обиженными циркуляром министерства. В нем говорится о каком-то еврее, хозяине каруселей, будто он толкнул женщину с ребенком и с этого все началось. Получается, что евреи сами дали повод к погрому, хотя это не так: никаких каруселей на эту пасху вообще установлено не было. Министр ответил, что у него есть официальные сведения, будто зачинщиками погрома были евреи, и он склонен доверять своим чиновникам больше, чем нам. Мы просили устроить нам аудиенцию у государя, но министр сказал, что государь не здоров и теперь никого не принимает. А к этому добавил, что взялся бы устроить аудиенцию, если мы пообещаем, что выразим благо-

дарность за те меры, которые были приняты властями. Вы видите — я не сторонник того, чтобы бросать вызов, но это было уже слишком: благодарность за учиненное побоище! Об аудиенции мы больше не заикались, но сказали господину министру, что было бы очень хорошо, если бы государь пожертвовал хоть небольшую сумму, чисто символическую, в пользу пострадавших и этим публично выразил им свое сочувствие. Однако этой просьбы министр не расслышал. Короче говоря, ни в одном вопросе, какой мы затронули, министр не пошел нам навстречу, он нас едва выслушал, зато сам произнес целую речь. Из нее мы поняли, что он усердно читает юдофобскую прессу и, больше того, верит этому вздору. Евреи для него составляют нечто вроде тайного сообщества, спаянного крепкой дисциплиной и подчиненного своему тайному правительству, которое приказывает им всячески вредить России. „Передайте, говорит, еврейской молодежи и всей еврейской интеллигенции, что евреи народ пришлый в России и должны вести себя скромно. Не думайте, что Россия старый и разлагающийся организм. Мы одолеем все трудности и справимся с революционным движением. Многие говорят о трусости евреев, но это неверно. Евреи — самый смелый народ. На западе России 90 процентов революционеров — евреи, а в России вообще — около 40 процентов. Не скрою, революционное движение нас беспокоит. Мы приходим даже в замешательство, когда то там, то здесь возникают демонстрации. Но мы справимся с этим. Знайте же, что если вы не удержите вашей молодежи от революционного движения, мы сделаем ваше положение настолько несносным, что вам придется уйти из России до последнего человека". Такова была эта речь, господа писатели. У меня хорошая память, я передаю почти дословно... Как видите, на наши почтительные просьбы министр не только не обещал что-либо улучшить, но пригрозил изгна-

нием всего нашего народа... Между прочим, цифры, которые он назвал, оказались неверными. Я потом справлялся с официальными данными: евреи составляют 29 процентов от всех привлекавшихся в последние годы по политическим делам, тогда как православные — 52 процента. Остальные приходятся на католиков-поляков и других инородцев. Конечно, в пересчете на душу населения процент революционеров среди евреев очень велик. Но ведь Россия в основном страна деревенская, а революционеров воспитывает город, где и сосредоточено большинство евреев. В отношении же к городскому населению революционеров среди евреев даже меньше, чем можно было бы ожидать. Однако министр внутренних дел официально пригрозил всем евреям изгнанием из страны только за то, что среди них имеется горсточка революционеров. И самое интересное то, что он всерьез полагает, будто наше слово может сильнее воздействовать на этих отчаянных юношей, нежели тюрьмы, каторга и прочие средства, какими располагает само правительство. Мы переглянулись с Гринбергом, и он стал говорить о своих верноподданических чувствах. Плеве ему ответил: „В вас-то я уверен, я знаю, что вы верноподданый еврей". Я тоже поспешил заявить о своей лояльности, но он грубо меня оборвал: „А вот в вас я сомневаюсь. Вы интеллигент, а вся еврейская интеллигенция неблагонадежна". Вот так, господа! Нам нужно успокоить общество и поскорее забыть про апрельское несчастье. Иначе Плеве исполнит свою угрозу, и миллионы нищих евреев должны будут отправиться в изгнание. Это приведет к таким бедствиям, каких еще не знал наш многострадальный народ. Я просто в отчаянии оттого, что адвокаты не хотят с этим считаться и стремятся раздуть громкое дело.

— Но как же можно иначе! — заговорил Владимир Галактионович. — Следователи сознательно замалчивают не только бездействие власти, но и прямое

участие в погроме представителей образованного класса. Они не позволяют даже называть имена таких главарей, как нотариус Писаржевский. Кстати, мне не совсем ясно, почему. Ведь эти подстрекатели — не представители власти.

— Тут все упирается в барона Левендаля, — ответил Кенигшац.

— В какого еще барона? — поразился Короленко.

— Как! Вы не слышали этого имени! И вы, господин Ашешов, ничего не сказали о нем Владимиру Галактионовичу?

— Я хотел, чтобы он услышал это от вас.

— Барон Левендаль — жандармский ротмистр. — Кенигшац опять обратился к Короленко. — Он появился в Кишиневе за два или три месяца до Пасхи в качестве начальника Охранного отделения, хотя такового у нас вообще не существовало. Он сразу стал обзаводиться штатом осведомителей. От губернатора он был независим. От местного жандармского управления — тоже. В чем состояла его миссия, никто не мог сказать. Многие полагали, что для барона просто создали синекуру, но тогда зачем ему понадобились сыщики? Революционным гнездом наш тихий Кишинев никак не назовешь. Была тут тайная типография, печатала воззвания социал-демократов, но еще в прошлом году ее обнаружили и ликвидировали. К тому же неблагонадежных у нас выслеживает жандармское управление во главе с полковником Чернолуским. Миссия Левендаля так и оставалась таинственной до самой Пасхи. А потом оказалось, что именно его агенты стоят во главе уличных банд. Каждая группа имела свой номер и точно знала район своих действий. Пока банды орудовали в городе, сам барон держал под наблюдением губернатора и буквально хватал его за руки, как только тот пытался положить конец бесчинствам. Я сам два раза приходил к губернатору, умолял его вмешаться, и он как будто соглашался.

Но следом являлся барон Левендаль, и все оставалось без изменений. Доктор Мучник, председатель нашей еврейской общины, приходил к губернатору с целой депутацией, и фон Раабен им решительно сказал: „Я сейчас выйду на улицу, я велю запрягать". Однако, когда депутация покидала губернатора, она столкнулась в дверях с Левендалем. Дом доктора Мучника стоит прямо напротив губернаторского. Придя к себе, он вышел на балкон и видел, как к подъезду губернатора подали экипаж. Но Раабена снова удержал Левендаль. А вскоре после погрома Левендаль исчез из Кишинева так же внезапно, как и появился. Говорят, его перевели в Киев, разумеется, с повышением. Очевидно, он сделал свое дело, и больше здесь не нужен. Думаю, этим и объясняется, почему следователь Фрейнат и его помощники делают все, чтобы Писаржевский и ему подобные не были привлечены к суду: от них ниточка ведет к Левендалю, а через него — к фон Плеве.

— И зная все это, вы молчите! — воскликнул Владимир Галактионович. — Вы не предаете гласности этот дьявольский замысел!

— Но все это почти невозможно доказать, — вздохнул Кенигшац. — А кроме того, господа, я не могу забыть ту угрозу, какую высказал Плеве. Когда евреев изгоняли из Испании, их там было шестьсот тысяч. А после изгнания в живых осталось триста тысяч. Каждый второй погиб в пути от голода и болезней. Представьте же себе, какие бедствия нас ждут, если из России будет изгнано пять миллионов!

— Вы действительно считаете это возможным? — удивился Короленко.

— А почему — нет?

— Но ведь все-таки сейчас не Средневековье, чтобы можно было изгнать целый народ! Двадцатый век на дворе.

— А разве не изгнали евреев из Москвы в самом конце девятнадцатого века, и при полном молчании

так называемого „общества"! А, положа руку на сердце, могли ли вы предполагать, что в просвещенном двадцатом веке вдруг вспыхнет такой дикий погром? Я знаю наизусть ваши „Огоньки", господин Короленко. „Впереди — огоньки!" Я завидую вам. Вы верите, вы убеждены, что при всех ужасах современной жизни, хоть и медленно, мучительно, но все-таки она изменяется к лучшему. Очень благородная точка зрения, я ее уважаю. Ну, а если нет?.. Средневековье может повториться по одному мановению руки господина Плеве. А то, что он не дрогнет, делая этот жест, я имел возможность убедиться; когда он нас принимал... Как адвокату, знаете ли, мне приходится иметь дело не с лучшими представителями рода человеческого. Убийцы, мошенники, грабители... Но таких жестоких, беспощадно жестоких и умных глаз, как у господина министра, я не встречал никогда в жизни.

— Ну, как, Владимир Галактионович, не жалеете, что задержались из-за этого визита? — спросил Ашешов, когда, распрощавшись с Кенигшацем, они покинули роскошный особняк.

— Какой несчастный человек! — не отвечая на вопрос, раздумчиво сказал Короленко. — Весь соткан из двусмысленностей и компромиссов. Ради звания присяжного поверенного он принял крещение, но в отличие от многих выкрестов, не порвал со своим народом, а напротив, живет его интересами и мучается его бедами. Он идет к фон Плеве выразить недовольство положением евреев и тут же клянется в верноподданических чувствах. Погромом он не только потрясен до глубины души, но знает подоплеку дела лучше, чем кто-либо другой; и вместо того, чтобы воспользоваться этим знанием в борьбе за еврейство, которое ему так дорого, он молчит и даже почти помогает властям скрыть истину, тая наивную надежду, что его молчание будет оценено и народ

его пощажен... Похоже, Винавер прав: евреи очень наивный и простодушный народ. А наивнее других как раз те, кто считает себя особенно дальновидным...

Во второй половине дня Короленко посетил больницу, где особенно долго беседовал со слепым евреем Меером Вейсманом, жителем одной из бедных окраин, расположенных вблизи городской скотобойни.

Меер оказался вовсе не старым, как представлялось Владимиру Галактионовичу со слов Ашешова, а человеком средних лет с густой черной бородой и птичьим носом, непокорно выпрыгивающим из-под белой марлевой повязки, туго наложенной на глаза. Он рассказал Владимиру Галактионовичу, что когда погромная волна приблизилась к их окраине, евреи попрятались, кто где мог. Самого Меера и его семью приютил сосед-молдаванин, но жена соседа пришла с улицы и сказала, что толпа за это может расправиться и с ними.

— Тогда мы стали бегать, — сказал Вейсман.

Он лежал неподвижно на узкой больничной койке и говорил бесстрастно, монотонным голосом, словно бы в пустоту. Только руки его двигались по одеялу, как посторонние существа, обнюхивающие каждую складку в надежде найти, чем поживиться.

— Сунулись туда-сюда, но все боятся, никто не хочет пускать, — говорил Меер. — Все же пустили нас к одному соседу, из этих, знаете, мешумедов. Был обычным евреем, а потом крестился и все забыл. Только он не забыл — нет! Выставил в окне икону, но все равно боится, прямо дрожит от страха. Ни за что не хотел даже калитку открыть. Но у него две дочери, хорошие добрые девушки, они нас пустили. Я говорю: „примите хотя бы детей". Но не успели мы на два шага отойти, как видим — отец вышвыривает наших детишек через забор. И так три раза.

Дочки принимают, а отец берет за шиворот, и как котят, через забор перекидывает. А тут уже толпа приближается, ну, мы и побежали на бойню. Там много евреев скопилось, с детьми, стариками. Все в страхе, ждут, что будет. А потом пришли эти — с дрюками, и стали бить.

Больше Меер ничего не помнил — очнулся уже в больнице. Очнулся и стал звать:

— Ита! Где моя Ита?

— Я здесь, — глотая слезы, ответила старшая дочь, стоявшая у постели, но Меер не видел ее, и, заметавшись сильнее, снова стал звать:

— Ита, Ита, где же ты?..

Дочь наклонилась к нему, он долго шарил руками в воздухе, не понимая еще, что никогда уже не увидит ни своей дочери Иты, ни самого белого света...

Кто выбил ему единственный глаз, Меер точно не знал, но уже здесь, в больнице, ему рассказали про соседского мальчика, который похвалялся своим подвигом и показывал товарищам „ту самую гирьку".

Записывая подробности этого тихого рассказа, Владимир Галактионович думал о том, что в истерических воплях юдофобов, которые кричат, будто „христиане" пострадали от погрома не меньше евреев, есть безусловно своя истина. Молдавский мальчик вступает в жизнь с таким страшным делом на совести... Каким ужасом содрогнется его душа, если он когда-нибудь поймет, что натворил!.. Ну, а если не поймет? Тогда он еще более несчастная жертва погрома...

На следующий день Короленко покидал Кишинев.

Провожать его на вокзале собралась изрядная толпа народа. Присяжный поверенный Кенигшац от имени местного общества сказал выразительную речь и преподнес Владимиру Галактионовичу адрес по случаю его приближающегося пятидесятилетия.

Долго жали ему руку столичные адвокаты, явившиеся на вокзал всей своей дружной командой. Николай Петрович Ашешов крепко обнял Владимира Галактионовича — он еще долго намерен был оставаться в Кишиневе, чтобы каждую неделю отправлять анонимную корреспонденцию в Штутгарт, главному редактору свободной русской газеты „Освобождение" Петру Струве. А один из провожавших, желая продлить общение с писателем, вскочил в последний момент в вагон, чтобы проехать вместе с ним две-три станции.

Это был давний товарищ Владимира Галактионовича по Петровской земледельческой академии. Они случайно столкнулись на одной из кишиневских улиц и оба были обрадованы неожиданной встрече. Товарищ тотчас заговорил об „истории", в которой они когда-то участвовали. Это были дорогие воспоминания, возвращавшие Владимира Галактионовича в далекую молодость. Студенты-петровцы бросили тогда смелый вызов властям, составив коллективную петицию протеста против вмешательства полиции в студенческую жизнь. Короленко и два его друга Григорьев и Вернер подали эту петицию начальству, поэтому именно их троих объявили „зачинщиками" и отправили в ссылку. Эта расправа вызвала еще большее негодование со стороны петровцев, пострадавшие за общее дело товарищи стали для них героями. Об этом и напомнил Владимиру Галактионовичу старый петровец.

Едва они остались в вагоне вдвоем, товарищ бережно извлек из кармана и показал три старые фотографии. На одной Короленко узнал себя, на другой — Григорьева, на третьей — Вернера, совсем молодыми, какими они были тогда, перед ссылкой, в 1876 году. Товарищ сказал, что хранит эти снимки, как дорогую реликвию, и попросил сделать надпись.

Около двух часов незаметно пролетели в беседе

о былом. Владимир Галактионович обменялся с вновь обретенным другом адресами, они уговорились, что будут переписываться. Наконец, товарищ поднялся: на следующей станции ему предстояло пересесть на встречный поезд, чтобы вернуться в Кишинев.

Вместе они вышли на площадку вагона. Поезд сбавил ход, остановился.

— Ну, прощай! — сказал Владимиру Галактионовичу вновь обретенный друг; он крепко пожал протянутую руку и вдруг ударил себя по лбу:

— Ба, я же совсем забыл передать тебе самый горячий привет от нашей редакции!..

— От какой редакции? — не понял Владимир Галактионович.

— Как от какой? От „Бессарабца", конечно, других у нас нет!

И он соскочил на платформу.

... Поезд двинулся дальше, а Владимир Галактионович долго еще стоял на площадке вагона, пораженный финалом этой неожиданной встречи. Каким же ядом должна быть пропитана атмосфера в этом городе, если даже товарищ-петровец, не изменивший, судя по всему, старому студенческому знамени, называет своею газетенку, запачканную кровью невинных жертв.

Об этой странной встрече Владимир Галактионович сообщил жене в Румынию, куда отправил семью на летние месяцы.

„Пребывание в Кишиневе произвело на меня впечатление очень тяжелое, — подвел он итог поездке, — антисемитизм загадил всю жизнь".

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА

Его Превосходительству Господину Директору Департамента Полиции А.А. Лопухову.

Записка по Бессарабскому Охранному Отделению. *Совершенно секретно.*

В виду почти ежедневных моих докладов о полной возможности новых антиеврейских беспорядков 14, 15 и особенно 25-го сего мая, а также и на основании поступающей массы сведений о том же и от частных лиц, И. д. Бессарабского губернатора Действительный Статский Советник Устругов сего числа, в 2 часа пополудни, собрал в Губернаторском доме под своим председательствованием комиссию. членами в которую пригласил Начальника Бессарабского Губернского Жандармского Управления, Прокурора Кишиневского Окружного Суда, и. об. Полицмейстера, и. об. Начальника местного гарнизона, и всех гг. командиров воинских частей, расположенных в Кишиневе. После двухчасового совещания эта комиссия выработала систему разделения всего города на самые мелкие участки, каждому из воинских начальников был строго определен свой район, все уговорились относительно однообразия и твердости в способах воздействия на бушующую толпу и, наконец, все рассчитано таким образом, чтобы по получении первого сведения о возникновении в какой бы ни было день и где бы то ни было беспорядков, весь город был бы занят войсками не более, как в продолжение 20-ти минут. В дни же 14-го, 15-го и особенно 25 мая, решено без всяких сведений о начале возникновения беспорядков занять весь город войсками по выработанному плану, — еще с ночи. Для распоряжения воинскими частями гражданским начальством город разделен на 7 участков, и в каждый из них Управляющим Губернией, по соглашению с военными властями, уже назначено по одному лицу, которое будет им на этот предмет вполне уполномочено. Сам же Управляющий Губернией с самого начала беспорядков и до самого конца их будет на месте там, где его личное присутствие более всего понадобится.

О вышеизложенном имею честь доложить на благоусмот-

рение Вашего Превосходительства.

Ротмистр Барон **Левендаль.**

12 мая 1903 г.
576. г. Кишинев.

Разбор шифрованной телеграммы из Кишинева от Управляющего губернией Устругова на имя Г. Министра Внутренних Дел за № 1686; подана 14 мая 1903 г. в 8 ч. 10 м. пополуд. получена 14 мая 1903 г.

По агентурным сведениям 14-15 или 25-26 мая предположено повторение беспорядков: решено, по сигналу, одновременно разгромить богачей и всех, помогавших евреям, прежде, чем успеют прибыть войска. В виду этого, половина гарнизона будет эти дни расположена вне казарм в разных частях города, что сегодня уже сделано. Все меры приняты. Считаю долгом доложить об этом. Пока все благополучно.

Управляющий губернией **Устругов.**

Телеграмма отправлена 14 мая 1903 г. в 10 ч. вечера. Деж. чин. (подпись неразборчива). Кишинев, Управляющий губернией.

Располагая полицией и войсками, нельзя допускать беспорядки. Предупреждение их возлагаю на Вашу личную ответственность.

Министр Внутренних Дел **Плеве.**

Глава 7

С очерком о Кишиневском погроме надо было спешить. Не потому, что он устарел бы месяцем позже, а потому что приближалось 15 июля, день пятидесятилетия, и Владимир Галактионович знал, что если не исчезнет к этому времени, то его замучают чествованиями. К тому же приближалось большое церковное торжество: открытие мощей причисленного к лику святых старца Серафима, скончавшего свои дни еще в 1833 году в Саровском монастыре, что в Темниковском уезде Тамбовской губернии. Открытие мощей должно было пройти с большой помпой, демонстрируя незыблемую приверженность народа началам православия и самодержавия. Ожидалось прибытие на торжества обер-прокурора синода Победоносцева, министра внутренних дел Плеве, самой царствующей четы. Заблаговременно к монастырю направлялись толпы молящихся с особо большим числом увечных и больных, надеящихся на чудесное исцеление.

Владимир Галактионович не раз участвовал в подобных шествиях — они давали богатый материал для наблюдения за нравами и бытом простого народа, — и теперь он решил, что в толпе богомольцев ему удобнее всего будет встретить свое пятидесятилетие.

В Полтаве из-за летнего зноя было малолюдно, и Владимира Галактионовича не очень беспокоили посетители. В доме было тихо и пусто, почти ничто не отрывало от работы.

Из Кишинева поступали новые известия. Самое значительное и неожиданное — о самоубийстве нотариуса Писаржевского.

Это был блестящий молодой человек, богатый, образованный, остроумный, из тех, кто одним появлением своим приковывает внимание и сразу становится душою общества. Последнюю ночь своей жизни он провел в клубе дворянского собрания. Был весел, оживлен, делал большие ставки в игре и непрерывно выигрывал. А потом... Потом вышел в сад, уединился в дальней аллее, извлек из кармана револьвер и — пустил себе пулю в висок.

Владимиру Галактионовичу сообщили, что о причинах самоубийства в Кишиневе ходят разные толки: кто говорит, что Писаржевский запутался в долгах, кто рассказывает романтическую повесть о несчастной любви, а кто твердит о том. что он не вынес позора, связанного с неминуемым привлечением к суду по делу о погроме, но в кругах, близких к редакции „Бессарабца", утверждали, что этот слух распущен евреями.

Что же касается самого Владимира Галактионовича, то в самоубийстве молодого нотариуса он увидел своеобразный заключительный аккорд кишиневской драмы — тот трагический финал, что возвращает надежду. Не мучился ли Писаржевский сознанием своей неискупимой вины перед тем, что он, интеллигентный человек, сделал по отношению к евреям, которых убивали „христиане", и по отношению к „христианам", которые убивали евреев? Владимир Галактионович хотел верить, что не какие-то там долги, и даже не боязнь суда (привлечение к нему оставалось очень сомнительным), а именно сознание вины заставило Писаржевского пустить себе пулю в лоб.

Очерком „Дом № 13" Владимир Галактионович остался недоволен. О самом важном он должен был умолчать; о многом другом — тоже важном — ска-

зать мимоходом, намеком. Получилось что-то „сухое и обкромсанное" — так он считал. Однако он полагал, что и то, что получилось, может оказаться слишком острой приправой для нежного желудка российской цензуры. Опасения были не напрасными: вернувшись в Полтаву после Саровских торжеств. он застал сообщение, что очерк его запрещен.

„Я на это убил две с половиной недели (почти) дорогого летнего времени, — жаловался Владимир Галактионович Федору Дмитриевичу Батюшкову. — Польза одна: я все равно не мог ни о чем свободно думать, пока не отдал эту (малую и плохую) дань сему болящему вопросу".

Прошло около двух лет. Новые большие события, связанные с японской войной, убийством Плеве, грозным ростом забастовочного движения, потрясшим страну Кровавым воскресеньем и его последствиями, захватили Владимира Галактионовича. Поездка в Кишинев и написанный на ее основе очерк изрядно потускнели в памяти, стали изглаживаться многие подробности. И вдруг Владимир Галактионович извлек из почтового ящика пакет, прибывший из Кишинева.

Распечатав его, он увидел небольшую книжечку. На обложке, в верхнем правом углу, был оттиснут его собственный овальный портрет, а под ним было напечатано:

Вл. КОРОЛЕНКО
ДОМ № 13
Эпизод из Кишиневского погрома.

Берлин, издание Иоганна Роде, 1904 г.

Подарок вдвойне удивил Владимира Галактионовича. Во-первых, он понятия не имел о том, что его очерк издан за границей. А, во-вторых, он давно привык к тому, что состоит под негласным надзором,

вся его корреспонденция просматривается и подобные заграничные издания до его почтового ящика никогда не доходят.

Ему было подумалось, что книжечка проскочила случайно, по чьей-то оплошности, но внимательнее посмотрев на обложку, он понял, что оплошности тут нет. Над портретом, у самого обреза обложки, он прочитал достаточно ясную карандашную надпись:

„Сочинение вора-шантажиста и жидовского наемника, продажного клеветника — Короленко".

Ниже, по овалу, обрамляющему портрет, шла менее ясная, но тоже вполне различимая карандашная вязь:

„Жаль, что у нас есть цензура, запрещающая публично изобличать таких лгунов".

И, наконец, под портретом:

„Нахальный лгун! Во всей этой басне ни слова правды".

Перелистав брошюру, Владимир Галактионович увидел, что поля ее тоже испещрены надписями, слишком, однако, однообразными, свидетельствовавшими о том, что их автор начисто лишен воображения: „Лгун", „Ложь", „Сплошная ложь", „Не стоишь ты, продажная душа, пятки Крушевана", „Лгун, торгующий своим именем и честью России", „От души желаю г-ну Короленко подавиться еврейским золотом, полученным за эту книжку"...

Наконец, на задней обложке Владимир Галактионович прочитал:

„Если бы такой предатель появился среди еврейского народа, то его давно бы уничтожили — так говорил мне один честный еврей, восторгавшийся Вашей продажностью, на мой вопрос, возможны ли такие предатели среди их нации".

Это была самая длинная и, по-видимому, самая оригинальная пометка дарителя. Имени его не значилось ни в книжке, ни на конверте: выставив напоказ свое нутро, он спрятал лицо под безопасной

маской анонима.

Все совершалось по законам Необходимости.

Во вселенской битве Добра и Зла каждый человек имеет возможность свободно выбрать свое место, и часть людей, по каким-то таинственным причинам неизменно становится на сторону Зла. Но лишь очень немногие из них отваживаются открыто заявить об этом. Они либо стараются вывернуть наизнанку все человеческие ценности, выдавая творимое ими Зло за Добро, либо действуют скрытно, исподтишка, воровски, чтобы не оставить следов своей личной причастности. В этом главная трудность преодоления Зла и в этом — Надежда.

Свое место в борьбе космических стихий Владимир Галактионович определил прочно и навсегда. Он верил, что борьба с погромами, с клеветой, с национальной, религиозной и всякой иной нетерпимостью, это борьба за обновление России, за превращение ее в легендарную страну Беловодию, в которой царствует гласность, справедливость, закон, уважение к личности каждого человека.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА

Его Превосходительству г. Директору
Департамета Полиции А.А. Лопухину.

Исполняющий должность
Бессарабского Губернатора.

Милостивый Государь
Алексей Александрович

Начальник 8-й кавалерийской дивизии, генерал-лейтенант Бекман, заявил мне, что при представлении Государыне Импе-

ратрице Марии Федоровне, Ее Величество изволила высказать ему свое сожаление о тех чрезвычайных зверствах, которые совершались в Кишиневе над убитыми евреями. На уверение генерала Бекмана, что все сведения иностранных газет по этому поводу и некоторых наших юдофильских изданий крайне преувеличены, Ее Величество изволила ответить: „Вы, генерал, вероятно, не знаете дела, так как, если бы сведения иностранных и наших газет были бы не верны, то последовало бы официальное опровержение сообщаемых прессою слухов".

Вашему Превосходительству известно, что в газете „Новости" были напечатаны, со слов ординатора Губернской Земской Больницы, доктора Дорошевского, самые ужасные картины зверских надруганий над трупами убитых евреев. Указывалось, что Суре Фонаржи были вбиты два гвоздя в ноздри, которые прошли через голову; — Лысу растянули суставы рук и ног; Харитону отрезали губы, потом вырвали клещами язык вместе с гортанью; на Кировской улице бросали со второго этажа маленьких детей на мостовую. Кроме того, будто бы известно множество случаев изнасилования несовершеннолетних, тут же умиравших на руках своих мучителей. Найдена разорванная на двое девочка и т. п. Независимо того, 20 апреля в Житомирском соборе произнесено слово Преосвященным Антонием, в котором сказано: „В то время, когда во святых храмах воспевали: „друг друга обымем", в это самое время за стенами храмов пьяная озверевшая толпа врывалась в еврейские дома, терзала людей, не щадя старца и младенца. Бесчестили женщин, разрывали грудных младенцев на глазах матерей и трупы их выбрасывали из окон на улицу, вместе с товарами еврейских магазинов, а там жадная толпа, не замечая окровавленных тел, бросалась через них к одеждам: грабители обогащались вещами, облитыми кровью несчастных жертв".

Прочтя все эти крайние преувеличения, я, собрав точные сведения, 26-27 апреля доложил бывшему Бессарабскому Губернатору, что все эти проникшие в печать сведения совершенно неверны. Наружный вид трупов убитых доказывал, что смерть последовала от удара в голову колом, лопатой, сапой и т. п., в момент сильного ожесточения и раздражения, но надруганий и истязаний решительно не было. Ни отрезания губ, ни вырывания гортани, ни вбивания гвоздей, разрывания девочек и грудных младенцев, ничего подобного ни на одном трупе не обнаружено. Изнасилования несовершеннолетних, умиравших в руках мучителей, и быть не могло, так как убита всего одна девочка 14 лет, труп которой осмотрен и в смысле вопроса об изнасиловании, причем установлено, что последнего положительно не было. Больше убитых несовершеннолетних женского пола не было. Равным образом, разрывания девочек и грудных младенцев, положительно не совершалось. В числе умерших, а не убитых — погребено два младенца, — один 1 г. 2 м., а другой 8 месяцев, которые умерли от неосторожности матерей, в их объятиях, завернутые в прикрытия, т.е. одеяла. Эти два трупа не только не имели никаких признаков следов убийства, но сами матери признали их смерть от удушения. Было два заявления об изнасиловании замужних женщин, оставшихся в живых, но оба не подтвердились, а потом, по словам следователя по важным делам, подано новых около 7 подобных заявлений, после более полуторамесячного периода времени, что ясно указывает на запоздалый вымысел. И эти заявления, вне всякого сомнения, останутся без подтверждения судебным расследованием. Работа еврейских адвокатов кипит, факты измышляются и подтасовываются, вырастают миллионные убытки, давно уже покрытые пожертвованиями, и предстоящая суду задача — обнаружение правды — является не только далеко нелегкою, но почти неразрешимою. С одной стороны, выступят во всеоружии присяжные юристы — щедро оплачиваемые, с другой — темная, невежественная группа обвиняемых, действовавших под злонамеренным влиянием подпольных советчиков, убежденная тогда, что она исполняла приказ Государя. И предстанет она к тяжкому ответу перед судом, надо полагать, почти беззащитною, тогда как потерпевшие имеют своих представителей даже и при предварительном следствии. Сотни подставных продажных свидетелей из единоверцев потерпевших

явятся грозною уликой на суде, и разобраться, где правда будет граничить с жестокою безжалостною местью, станет почти невозможно. О таком положении дела я считаю своим долгом довести до сведения Вашего Превосходительства.

Покорнейше прошу принять уверение в чувствах совершенного почтения и преданности.

В. Устругов.

* * *

Г. Начальнику Главн. Упр. по делам печати.

Вследствие приказания Господина Министра Вн. Д., Д-т П. имеет честь покор. просить Ваше П-во сделать распоряжение о воспрещении печатания в газетах объявлений о сборах, производящихся в пользу евреев, пострадавших во время Кишиневских беспорядков.

Подп. Директор **Лопухин.**
Скр. Дел.: подпись неразборчива.

№ 7568.
24 мая 1903 г.

ЭПИЛОГ

7 июля 1920 года нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский, совершавший поездку по только что отвоеванным у белых районам, остановился в Полтаве. Здесь, по личному заданию Ленина, он должен был встретиться с В. Г. Короленко и постараться объяснить ему мотивы всего, что происходит в стране. Ленин полагал, что, осознав благородные цели большевистской власти, Короленко поддержит ее.

С Владимиром Галактионовичем Луначарский прежде никогда не встречался, однако заочно их связывали давние и очень непростые отношения. В 1903 году, по случаю 50-летия Короленко, Луначарский опубликовал большую статью о его творчестве. И хотя к юбилею прославленного писателя появилась добрая сотня работ, статья Анатолия Васильевича не потерялась в этом потоке.

В последующие годы слава Короленко продолжала расти — не только как тонкого художника, но и как трибуна, публициста, борца. Борьба с погромами, скороспелыми смертными казнями, с раздуванием антисемитских страстей в связи с ритуальным делом Бейлиса, а затем, уже в годы мировой войны — ложными обвинениями евреев в шпионаже... Позиция писателя по основным вопросам жизни оставалась неизменной. Даже в те годы, когда сам Анатолий Васильевич, утратив прочные классовые ориентиры, ударился в буржуазное богоискательство, Короленко нисколько не пошатнулся в своих всег-

дашних принципах. Он не менял вех на своем пути. Его моральный авторитет стал безусловной, абсолютной величиной. Анатолий Васильевич видел в нем (особенно после смерти Толстого) олицетворение совести русской литературы, да и вообще России. После падения монархии Луначарский даже высказывал мысль, что если молодая республика, вырабатывая новые государственные институты, пожелает учредить пост президента, лучшим кандидатом на него мог бы стать Владимир Галактионович Короленко.

События, однако пошли иным путем, нежели это представлялось Анатолию Васильевичу. После большевистского переворота, несмотря на недавние „шатания", за которые Ильич ласково назвал его „сволочью", Луначарскому был доверен самый трудный и деликатный пост в правительстве, так как именно на него легла задача наводить мосты между новой властью и мозгом нации — интеллигенцией.

Но мосты наводились плохо: давала о себе знать чуждая классовая природа интеллигенции. „Мир народам, земля крестьянам, заводы и фабрики рабочим..." Большевистские лозунги, столь понятные массам, интеллигенция принимала с недоверием как хитрый маневр, пущенный в ход, чтобы закрепиться у власти. В ответ на негодование буржуазной печати большевики вынуждены были закрыть ряд газет, что, конечно, не улучшило взаимопонимания между новой властью и интеллигенцией. Понятна поэтому та радость, какую испытал нарком просвещения, когда перед ним неожиданно возник довольно известный писатель Иероним Иеронимович Ясинский и прочитал звонкие бодрые стихи, прославляющие новый строй.

Луначарский напечатал в „Известиях" восторженную статью, в которой заявил, что в облике убеленного сединами старца к большевикам пришла сама русская литература.

А через несколько дней в еще не закрытых „Русских ведомостях" появилась большая статья под названием „Торжество победителей". Статья напоминала некоторые эпизоды творческой и нетворческой биографии Ясинского — монархиста и антисемита, всегда примыкавшего к сильным, так что к новым властям его могли привести не принципы, а лишь сознание, что теперь на их стороне могущество.

„Да, могущество, — говорилось в статье, — но не морального порядка. Русская печать не идет к новой власти с признанием и поклоном; все партии, все направления общественной мысли отстраняются от нее с такой оппозиционной брезгливостью, которую ничем не могло победить самодержавие. Вокруг нее уже образовалась идейная пустота, насыщенная произволом и кровью".

„Нет, гражданин Луначарский, не обольщайтесь! К вам на „сретение" пришла не русская литература, а только Иероним Иеронимович Ясинский, и его появление не радостно, а зловеще... Поверьте, гражданин Луначарский (мне, старому писателю, тяжело говорить это о другом старом писателе): в лице И. И. Ясинского в окровавленный пролом Зимнего дворца вползла к вам только старая рептилия, привыкшая извиваться перед всякой восходящей силой, хотя бы грубой, и так же готовая ужалить ее в пятку в момент падения".

Под статьей стояла подпись: Владимир Короленко.

Это был открытый вызов, но Луначарский счел за лучшее промолчать. Лишь через год, в связи с шестидесятипятилетием Короленко, он напечатал статью, в которой, высоко оценив талант писателя и гуманистическую направленность всего его творчества, писал:

„Горько, конечно, что во имя „справедливости" и прочих обывательских вещей, так невыразимо жалких перед грозою войны и революции, зачитал против нас проповедь и Короленко. Но как неверен

был его голос! Какая скучная канитель его письмо, в котором он торжественно объявляет меня „бывшим писателем, а теперь комиссаром" и с негодованием уездного пророка клеймит наш фанатизм, радуется тому, что писатели не пошли к нам, корит прошлыми грехами тех, кто пошел. Какая все это мелочь, какая все это моральная дребедень по сравнению с мировыми событиями, их горечью и их славой!"

И вот они сошлись лицом к лицу — старый, доживающий нелегкий свой век писатель и полный кипучей энергии народный комиссар, гордый тем, что действует и говорит от имени самой Истории.

Пока Короленко цепким ощупывающим взором изучал своеобразное, уверенно вылепленное лицо гостя с его крутым лбом и живыми примыкающими к переносью глазами, нисколько не тускнеющими за толстыми стеклами пенсне, Анатолий Васильевич с жаром и одушевлением расписывал перед ним светлое царство свободного труда, ради которого советская власть бьется с коварным врагом.

Владимир Галактионович слушал с большим вниманием — и не только потому, что обязывали законы гостеприимства. За два с половиной года, прошедших с тех пор, как он выступил с отповедью самоуверенному комиссару, он был свидетелем многих событий, от которых леденела кровь в его уже сцементированных старческим склерозом сосудах.

Волею судьбы Полтава оказалась одним из самых горячих очагов противоборства. Большевиков здесь сменяли молодцы гетмана Скоропадского, отряды Петлюры, батьки Махно, части добровольческой армии Деникина, и вот снова пришли большевики — теперь уже, кажется, навсегда.

Но среди тех, чья власть на месяцы, а иногда на считанные дни устанавливалась в городе, никто не представлял русскую демократию. Демократия оказалась раздавленной, растертой в порошок меж-

ду жерновами противоборствующих стихий. За демократией была правда, справедливость, мораль и прочая „дребедень", но за ней не было силы. Торжествовало могущество не морального порядка.

Всякая новая власть творила беззакония и бесчинства — во имя, конечно же, высших и благороднейших целей.

Когда приходили петлюровцы или деникинцы, в городе вспыхивали жестокие погромы и грабежи. Владимир Галактионович требовал прекратить бесчинства, но их благородия только смеялись. Большевистская власть для них была еврейской властью, и они не видели греха в том, чтобы малость попотрошить жидков.

Большевики пресекли всякие попытки погромов, но с их приходом начинались повальные обыски, реквизиции, аресты, расстрелы без следствия и суда.

Расстреливали по ночам на старом кладбище. Приговоренный сам выкапывал могилу и бесформенным кулем валился в нее, получив пулю в затылок. Затаившийся город не спал; обыватели напряженно вслушивались в тишину, стараясь по числу выстрелов определить количество казненных. Конвойным не всегда хотелось тащиться на кладбище через весь город: в непогоду они ухлопывали свои жертвы прямо на улице, „при попытке к бегству". А наутро сотни прохожих видели лужи крови, жадно вылизываемые голодными собаками.

Владимир Галактионович шел в губисполком и ЧК и задавал один и тот же вопрос: „Даже если расстрелянные были злостными агитаторами, неужели они могли сказать против вас что-либо большее, чем говорят эти лужи крови на улице?"

Деникинцы, вернувшись в Полтаву, отрыли и выставили на всеобщее обозрение полуразложившиеся трупы, демонстрируя большевистские зверства. Но сами тоже расстреливали „агитаторов" без суда, и Владимир Галактионович пытался выяснить, неуже-

ли они полагают, что их жертвы будут выглядеть лучше, если их потом тоже отроют и выставят напоказ.

О бесчинствах деникинцев ему удалось напечатать статью в Екатеринодарской газете. Ему грозили расстрелом, но статья уже появилась: контроль над печатью у „Добровольцев" не был абсолютным. При большевиках не удавалось опубликовать ни одной строчки; вместо статей Владимир Галактионович писал письма, докладные записки, ходатайства. Благодаря большой настойчивости, авторитету своего имени и давней дружбе с Христианом Раковским, ставшим главой большевистского правительства Украины, ему удавалось иногда вырвать некоторых из лап смерти. Но это были лишь ничтожные капли в разливанном море насилия. Часто его ходатайства просто опаздывали, ибо „суд и расправа" чинились в глубокой тайне; даже ближайшие родственники арестованных ничего не знали об их участии и приходили за помощью слишком поздно.

Каждая неспасенная жизнь жестоко терзала больное сердце писателя, нередко заставляла его слечь в постель. Главное несчастье было в том, что „ошибки", даже признаваемые „ошибки", ничему не учили, никого не делали осмотрительнее.

... Представитель верховной большевистской власти, сидевший теперь перед Владимиром Галактионовичем, был не какой-нибудь рядовой чекист, из вчерашних полуграмотных землекопов, одуревших от полученной вдруг возможности одним движением пальца решать вопросы жизни и смерти людей. Нет, к нему пришел европейски образованный интеллигент, знаток истории, философии, литературы, эстетики...

Владимир Галактионович пытался за уверенными жестами Луначарского уловить встревоженность больной совести. Но ничего похожего не угадывалось на безоблачном светлом челе собеседника. Почему?

Как это могло быть? Большевики обещали мир народам. Но в России продолжалась жестокая сеча, хотя во всей Европе давно уже наступил мир. Они обещали землю крестьянам, но хлеб, выращиваемый на этой земле, отбирался продотрядами, наделенными властью чинить расправы над укрывателями хлеба по первому подозрению. Они обещали заводы и фабрики отдать рабочим, а в результате почти все предприятия стали, и рабочие превратились в голодающих безработных. Большевики обещали и подлинную свободу взамен иллюзорных буржуазных свобод, а в результате воцарился такой деспотизм, о котором и помыслить не могли российские самодержцы.

Такой виделась действительность Владимиру Галактионовичу, но в ходе беседы с Луначарским он убеждался, что гость видит ее совсем в другом свете; и чем очевиднее становилась его искренность, тем сильнее рос интерес к гостю, возникало даже известное уважение, какое он привык испытывать к всякому честному мнению, хотя бы и иному, нежели его собственное.

— У революции свои законы, — горячо и уверенно говорил Луначарский. — Сокрушаться о недостаточном сострадании к тем, кто имел несчастье попасть под колесо истории, значит, по выражению Ницше, читать проповедь землетрясению. Разве мы хотим крови, ненависти, насилия? Нет! Мы враги всего этого. Но старый мир не уступает добровольно. Он сопротивляется, дает последний и решительный бой. История нам не простит мягкотелости. Так говорит Ленин. Мы вынуждены быть беспощадными к классовому врагу, потому что он беспощаден к нам!

— Но вы без суда и следствия расстреливаете невинных людей, — возражал Владимир Галактионович. — Вы хотите одним махом решить все проблемы, нисколько не считаясь с культурной и экономи-

ческой отсталостью России. Я сам полагаю, что в частной собственности есть немая доля жестокости, но чтобы отменить ее, должны созреть условия. Путь к социализму долог и очень непрост. Даже развитые страны Запада еще не готовы к нему. Я верю в искренность ваших намерений, но благими намерениями вымощена дорога в ад. Ваши цели недостижимы вашими средствами.

— Мы вынуждены на насилие отвечать насилием.

— Вы все говорите „вынуждены", „вынуждены". Но кто же вас вынуждает? Вы сами вызвали целое море вражды, огрызаетесь от стаи врагов и ожесточаетесь. У вас есть палачи. Эти люди стали чекистами для того, чтобы рубить человеческое мясо, как рубят конину. Вы хотите внеклассового общества, общества коммунистического содружества, значит, для вас человеческая жизнь должна быть святее, чем для любого другого, а вы ее топчете.

— Вы, Владимир Галактионович, за деревьями не видите леса. Отдельные местные факты закрывают от вас перспективу.

— То, что вы называете „отдельными фактами", это человеческие жизни. Ведь вы литератор, у вас должно быть развито воображение. Представьте же себе: именно сейчас, пока мы беседуем, в местной чека, возможно, готовится расправа над пятью арестованными. Я их никогда не видел, даже фамилии мне известны только две: Миркин и Аронов. Им грозит гибель „под колесом истории" по прихоти ваших ставленников. А ведь этим людям их жизнь не менее дорога, чем нам с вами — наша. Родственники в отчаянии, просят моего заступничества, но, увы, я не могу поручиться, что оно даст результаты.

— А в чем обвиняются эти люди? — спросил Анатолий Васильевич.

— Говорят, в спекуляции хлебом.

— И вы заступаетесь за них в то время, когда

мировая буржуазия пытается задушить молодую республику костлявой рукой голода! — то ли возмутился, то ли изумился Луначарский. — Вот к чему ведет ваша интеллигентная доброта! Вы готовы лить слезы об участи „несчастненьких", не задумываясь над тем, сколько людей, которым тоже дорога жизнь, умирают от голода по вине спекулянтов.

— Я не хочу дискутировать с вами о том, можно ли смертными казнями решить продовольственную проблему, или вам следовало бы поискать для этого иные пути. Дело в другом. Вина арестованных не доказана. И не будет доказана, потому что обвинение может быть превращено в вину только приговором суда, а судить их никто не собирается. При царе, как вы знаете, тоже существовала практика бессудных приговоров: и вас, и меня не раз отправляли в ссылку. Но к каторге, а тем более к смерти, мог приговорить только суд. При Столыпине смертные приговоры выносились военно-полевыми судами, и нередко это была пародия на суд. Вы знаете, как я боролся с этим злом. Но все же соблюдался хоть какой-то минимум формальностей. Мне известен только один случай, когда варшавский генерал-губернатор Скалон расстрелял без суда двух юношей. И он сам за это чуть не угодил под суд. Только личное заступничество царя спасло его. А теперь? Все формальности вы объявили „буржуазными предрассудками", улики заменены „революционной совестью", сотни и тысячи маленьких скалончиков чинят бессудную расправу по всей России, абсолютно уверенные в своей безнаказанности. А вы называете это „отдельными местными фактами"! Нет, Анатолий Васильевич, боюсь, что мы не поймем друг друга.

— А я все же верю, что мы сможем столковаться, — живо возразил Луначарский. — Ведь мы сами скорбим об ошибках, знаем, что иногда их бывает слишком много, но поймите и вы: в такой жесто-

кой борьбе, какую нам навязала буржуазия, ошибки неизбежны.

— Значит, не вы навязали борьбу, а вам ее навязали. Оставьте это для пропагандистских выступлений. Черносотенцы, как вы хорошо знаете, устраивая погромы, тоже кричали, что им навязали борьбу, только не буржуазия, а еврейство. Слово „еврей" служило жупелом, которым удобно было клеймить противников режима. Вы поменяли жупел, только и всего. Вы ни в грош не ставите отдельного человека, его личную неприкосновенность и юридические права. Для вас это буржуазные предрассудки. Всякий инакомыслящий или лишь кажущийся таковым — это буржуй, поставленный вне закона. Не только интеллигентов, но и рабочих, если они хоть в чем-либо не согласны с вами, вы объявляете распропагандированными, либо подкупленными буржуазией. Точно также черносотенцы объявляли меня подкупленным евреями, когда я выступал против погромов. Ваши методы те же, что и у черной сотни, только она возбуждала массы против евреев, а вы — против буржуев.

— Ну, Владимир Галактионович, таких поверхностных аналогий я от вас не ожидал, — решительно запротестовал Луначарский. — И это говорите вы, призывающий к широте и терпимости!

— Почему же — поверхностных? Хотите сказать, что у вас благородные цели? Но когда Плеве и Крушеван устраивали Кишиневский погром, они тоже преследовали благородные, на их взгляд, цели: „спасали" Россию от порабощения евреями.

— Значит, вы считаете, что наши цели неотличимы от черносотенных? — Луначарский уже не скрывал своего негодования.

— Цели, может быть, и различны, но одинаковы методы, — спокойно ответил Владимир Галактионович. — То есть, нет, в методах тоже есть разница. Черные сотни, хотя и поощрялись правительством,

все же прямо не входили в аппарат государственной власти. Обществу, адвокатуре, печати приходилось прилагать огромные усилия, чтобы выявлять тщательно скрываемые связи между „Союзом русского народа" и представителями власти. У вас же целые губернии вполне официально отданы во власть чрезвычайных комиссий. Они арестовывают подозрительных, стряпают против них обвинения и сами же выносят приговоры вплоть до смертной казни. Это беспрецедентно в истории цивилизованных государств, и вы это отлично знаете.

— А разве пролетарская революция имела прецеденты в истории, кроме кратковременного существования Парижской Коммуны?

— Коммуна без всякого смысла расстреляла заложников и этим надолго оттолкнула от коммунизма многих из тех, кто ему сочувствовал.

— Но главная ошибка Коммуны была в другом. Именно излишняя мягкость и нерешительность полубуржуазного руководства Коммуны привела ее к гибели.

— Значит, цель оправдывает средства? Победа любой ценой?

— А где вы видели, чтобы будущее побеждало бескровно, без всякой борьбы? — спросил Анатолий Васильевич.

— Вы все время говорите так, будто я не признаю никакого насилия. Но вы ошибаетесь. Видимо, путаете меня с Львом Толстым, чем, конечно делаете мне большую честь. Я никогда не был сторонником непротивления злу, да и вы сами писали обо мне, что я сеял не одни только розы. Борьба необходима, но вопрос в том, какая борьба, с кем и какими средствами. На удар надо отвечать ударом, на атаку — атакой, а на мнение — мнением. Когда же вы набрасываетесь с дубинкой на мирного прохожего, потому что вам показалось, что он как-то „буржуазно" на вас посмотрел, то, извините, это разбой. В глубине души

вы знаете, что не можете победить своих оппонентов словом, поэтому вы так жестоко затыкаете им рты. Пуля, штык и арест — вот все ваши аргументы.

— А если я докажу вам обратное? — спросил Анатолий Васильевич. — Давайте обменяемся письмами, только не о частностях, а об общих вопросах, и совместно эту переписку опубликуем. Так вы получите возможность высказаться публично, и мне будет удобно, отвечая вам, изложить точку зрения советской власти.

Они простились вполне дружелюбно. А вечером встретились еще раз, в городском театре, на большом митинге, созванном в связи с приездом в город наркома. Короленко давно уже принципиально не посещал официальных большевистских собраний, но должен был изменить этому правилу, потому что к нему с плачем и воплями прибежали родственники арестованных: им стало известно, что их близкие переведены из тюрьмы в подвал губчека, а это почти наверняка означало расстрел.

После митинга Короленко подошел к Луначарскому, окруженному большой толпой, и громко сказал:

— Анатолий Васильевич! Я внимательно выслушал вашу речь - она проникнута уверенностью в силе. Но силе свойственны справедливость и великодушие, а не жестокость. Докажите же, что вы действительно чувствуете себя сильными. Пусть ваш приезд в Полтаву, ознаменуется не актом бессмысленной мести, а актом милосердия. Вот, ознакомьтесь, — при этом он подал бумагу. — Из этого документа вы увидете, что в действиях Аронова, Миркина и других арестованных, о которых я вам сегодня говорил, даже официальные продовольственные власти не усматривают никаких нарушений действующих декретов. Кроме того, вот ходатайство рабочих мельницы

Аронова. Они характеризуют хозяина с самой лучшей стороны, не считают его злостным эксплуататором и спекулянтом. Дело, как видите, достаточно сложное, что бы в нем разобраться суду, а не лишать людей жизни без всякого расследования.

Приняв бумаги, Луначарский обратился к стоявшему рядом с ним председателю Полтавской губчека Иванову, маленькому щуплому человечку, затянутому в скрипучую кожу, с тяжелым револьвером на широком ремне.

— Эти люди действительно приговорены к смертной казни? — строго спросил его Анатолий Васильевич.

— Приговорены, товарищ Луначарский, но все еще можно поправить, — с торопливой готовностью ответил Иванов.

— В таком случае поправьте! Считайте, что это не только просьба Владимира Галактионовича, но и мое настоятельное пожелание.

— Слушаюсь, Анатолий Васильевич! Сделаем все возможное.

Успокоенный Короленко еще раз попрощался с Луначарским и вернулся домой. А утром ему принесли записку от покидавшего город наркома: „Дорогой, бесконечно уважаемый Владимир Галактионович. Мне ужасно больно, что с заявлением мы опоздали. Я, конечно, сделал бы все, чтобы спасти этих людей ради Вас, — но им уже нельзя помочь. Приговор приведен в исполнение еще до моего приезда. Любящий Вас Луначарский".

Записка выскользнула из рук Владимира Галактионовича, перед глазами поплыли оранжевые круги, и сразу ослабли колени. Держась за стенку, он с трудом дотащился до дивана...

Опоздал! Опять опоздал!.. А какой мерзавец этот Иванов, с какой готовностью лгал, зная, что дело уже сделано!.. И таким людям доверяют человеческие судьбы...

С плачем и стенаниями опять пришли родственники Миркина и Аронова. Им уже было известно о роковом исходе, и они просили ходатайствовать, чтобы им хотя бы выдали тела казненных.

Не в силах подняться с постели, Владимир Галактионович послал записку давнему своему другу Владимиру Вильямовичу Беренштаму. В прошлом видный адвокат, известный смелыми выступлениями на политических процессах, он работал в скромной должности юрисконсульта губисполкома и в меру своих возможностей помогал Владимиру Галактионовичу спасать людей от бессудных расправ. Получив записку, он тотчас пошел к председателю губисполкома.

— Мне бесконечно жаль Короленко, — ответил тот. — В тяжелое для него время он живет. Свобода требует искупительных жертв. Мы не можем не расстреливать спекулянтов, вздувающих цены на хлеб. Это самый подлый вид грабителей.

— Но Аронов расстрелян вопреки декрету!

— Все равно, он был несомненным спекулянтом.

— Я этого не знаю. А если бы даже и так. Ведь его не судили. Как можно расстреливать без суда? История не прощает окровавленных рук.

— Не в этом сейчас дело, — отмахнулся председатель, — а в том, что вся эта спекулянтская публика рвет Короленко на части. Когда спекулянты наживают на крови народной миллионы, они заранее видят в нем своего спасителя. Жульничают, а он за них мучается, терзается, теряет здоровье. Было бы очень хорошо, если бы он поселился за городом, вдали от всей этой передряги. Мы создали бы ему полный покой, все удобства. Пусть отдохнет и побудет в стороне от таких переживаний...

— Я все это передам Владимиру Галактионовичу. Но что сказать насчет казненных?

— Трупы выдать невозможно. Из похорон устроили бы демонстрацию.

... Предложение председателя губисполкома словно хлыстом ожгло Короленко. Он даже вскочил на кровати, гневно закричал:

— Никуда, никуда, не поеду! Буду здесь, буду все время им писать...

И он писал. О деле Могилевского и других, которым грозила участь Аронова. О деле Соколова и Файна... О группе миргородцев... О девятнадцатилетнем красноармейце Ефиме Штеле, которому тоже грозил расстрел. И о многих других.

Со второй половины июня по сентябрь Короленко написал шесть писем Луначарскому. В каждом он пытался говорить об „общих вопросах", как было условлено между ними, и в каждом сбивался на „отдельные" факты, тяжелым камнем лежавшие на сердце.

Владимир Галактионович не пытался „разоблачить" Луначарского — он убеждал. Основная его мысль состояла в том, что большевистское руководство, считавшее себя представителем самой передовой части народа, пользуется методами, унаследованными от царизма, который держал народ в состоянии политической и нравственной отсталости и сам держался этой отсталостью.

„Давно сказано, что всякий народ заслуживает то правительство, которое имеет. В этом смысле можно сказать, что Россия вас заслужила, — с горечью писал Короленко. — Вы являетесь естественными представителями русского народа, с его привычкой к произволу, с его наивным ожиданием „всего сразу", с отсутствием даже начатков разумной организации и творчества. Не мудрено, что взрыв, только разрушал, не созидая".

Короленко призывал к созиданию. Призывал признать ошибки, „которые вы совершили вместе с вашим народом", призывал отказаться от „гибельного пути насилия", ибо социализм, по его убеждению, „может войти только в свободную страну".

Осенью 1920 года Владимир Галактионович передал копии своих писем посетившему его американскому корреспонденту, но просил пока не печатать их. Он ждал ответов Луначарского, однако так и не дождался. Как потом утверждал Луначарский, до него дошли только три из шести писем Владимира Галактионовича. Луначарский показал их Ленину, прося совета, как поступить. Ленин ответил, что публиковать письма, хотя бы и с ответами, в данное время „нецелесообразно", и Анатолий Васильевич счел за лучшее вообще не отвечать.

Между тем, трагедия, ходившая вокруг да около, прямо ворвалась в дом Короленко, где вместе с ним жили не только жена и дочери, но и муж одной из них, Константин Иванович Ляхович, и их маленькая дочурка.

Никогда не имевший сына, Владимир Галактионович привязался к Ляховичу, умному, образованному человеку, который, с полуслова понимая его, сделался образцовым помощником и секретарем. Старый социал-демократ, Ляхович был избран в Полтавский совет рабочих депутатов и возглавил в нем фракцию меньшевиков, состоявшую, благодаря большевистской системе „выборов", всего из пяти человек.

Первое же выступление Ляховича в совете чуть было не вызвало его ареста. А когда эта гроза миновала, пришло из центра общее распоряжение арестовать всех меньшевиков, эсеров и анархистов.

Уверенный в том, что распоряжение это кратковременное, но с ужасом думая, каким тяжким ударом для Владимира Галактионовича было бы заточение его зятя в тюрьму, Беренштам предлагал Константину Ивановичу спрятаться.

— Нет, не могу, — отвечал Ляхович, — я не должен скрываться. — И прощаясь, добавил: — Ну, Владимир Вильямович, прощайте, больше никогда не увидимся.

— Что так?! — возразил Беренштам. — Пустяки! Через неделю-другую вас выпустят.

— Вы забыли, что у меня сильный порок сердца, а в тюрьме свирепствует тиф. Заболею — не выдержу.

Все попытки Беренштама убедить чекистов, а затем председателя губисполкома оставить Ляховича под домашним арестом под его личное поручительство ни к чему не привели. Видя, как тяжело переживает случившееся Владимир Галактионович, Беренштам советовал ему написать в Харьков Христиану Раковскому.

— Нет, не стану писать, — твердо ответил Короленко.

— Тогда я напишу.

— Не надо.

Он все время отказывался от каких-либо льгот или забот со стороны власти, и даже теперь, перед лицом свалившегося несчастья, не хотел ни о чем просить для себя или близкого себе человека: считал, что этим свяжет себе руки и обесценит будущие ходатайства за других.

Раковский все же узнал от кого-то об аресте Ляховича и прислал распоряжение его освободить. Но в губчека не торопились исполнять приказ. А когда исполнили, было уже поздно: Ляховича вынесли из тюрьмы на носилках, в тифозном бреду.

Немедленно на ноги был поставлен весь город. Лучшие врачи, сменяя друг друга, неотрывно дежурили у постели больного... Самые дефицитные лекарства, припрятанные аптекарями и давно уже ни для кого не доступные, доставлялись по первому требованию в дом Короленко. Все мешки с кислородом, какие только удалось набрать в Полтаве, были мобилизованы на спасение жизни Ляховича. Но больное сердце не выдержало...

Когда Владимира Галактионовича пустили, наконец, к „Косте", тот лежал прибранный, одетый в чер-

ный сюртук, в красном гробу. Из груди Владимира Галактионовича вырвались судорожные рыдания.

Его с трудом успокоили. Он сам хотел нести гроб, но врачи категорически воспротивились этому. Впервые все вдруг увидели не прежнего Короленко — стареющего, но крепкого, деятельного, полного страсти и непримиримого ко всякой подлости, а тяжело больного, раздавленного непосильным горем, беспомощного старичка...

За гробом Ляховича шел почти весь город. Оркестр, выделенный профсоюзом работников искусств, играл революционные марши, и толпа приглушенно пела: „Замучен тяжелой неволей..."

Эта песня часто звучала в те годы, но редко ее содержание так точно соответствовало моменту.

Около тюрьмы процессия остановилась. Из окон заключенные махали маленькими флажками...

Короленко пережил зятя только на полгода, и это были месяцы быстрого угасания.

28 декабря 1921 года, в день похорон писателя, в Полтаве был объявлен всеобщий траур. Театры, магазины, школы, даже правительственные учреждения не работали. Со всей губернии съехались крестьяне. В похоронах участвовало около сорока тысяч человек. Шествие непрерывной толпы во всю ширину улицы длилось шесть часов подряд.

На смерть Короленко откликнулась не только Полтава. На нее откликнулась вся Россия и вся русская эмиграция. Немало прочувствованных страниц посвятил писателю и Анатолий Васильевич Луначарский, не хотевший отдавать его классовому врагу.

Основную ошибку Короленко Луначарский видел в том, что „ту этику, которая будет обязательной на послезавтрашний день, на день после победы", он „переносил на суровую подготовительную эпоху".

Анатолий Васильевич диалектически подходил к этике. „Мы примиряемся с ним, — писал он, — в

некоем высшем синтезе, и если он не понял нас, то из этого не следует, что мы не должны понять его".

Однако время для „понимания" все еще не наступило. Ни письма Короленко к Луначарскому, ни многие другие его письма и дневники последних лет в Советской России не опубликованы, и вряд ли кто-нибудь отважится предсказать, когда, наконец, писателю позволят на его родине высказаться в полный голос.

1980-81-87
Москва-Вашингтон

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 5

УСЛУГА ЗА УСЛУГУ (Павел Александрович КРУШЕВАН) 7
Пролог 9
Глава 1 15
Глава 2 40
Глава 3 62
Глава 4 76
Глава 5 89
Эпилог 97

РУССКИЙ ВОПРОС (Владимир Галактионович КОРОЛЕНКО) 109
Пролог 111
Глава 1 119
Глава 2 137
Глава 3 156
Глава 4 175
Глава 5 182
Глава 6 200
Глава 7 217
Эпилог 225

КНИГИ СЕМЕНА РЕЗНИКА

НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ. Москва, „Молодая гвардия", серия „Жизнь замечательных людей", 1968.

МЕЧНИКОВ. Москва, „Молодая гвардия", серия „Жизнь замечательных людей", 1973.

ЭВОЛЮЦИЯ И ЭВОЛЮЦИОНИСТЫ. Москва, „Знание", серия „Жизнь замечательных людей", 1976.

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЖИЗНИ. Москва, „Знание", 1977.

ВЛАДИМИР КОВАЛЕВСКИЙ. Москва, „Молодая гвардия", серия „Жизнь замечательных людей", 1978.

ЗАВЕЩАНИЕ ГАВРИИЛА ЗАЙЦЕВА. Москва, „Детская литература", 1981.

ЛИЦОМ К ЧЕЛОВЕКУ. ПОДСТУПЫ К БИОГРАФИИ В.В. ПАРИНА. Москва, „Знание", 1981.

ДОРОГА НА ЭШАФОТ. Париж – Нью-Йорк, „Третья волна", 1983.

ХАИМ-ДА-МАРЬЯ. Историко-документальный роман-фантасмагория. Вашингтон. изд-во „Вызов", 1986.

СЕМЕН РЕЗНИК

ХАИМ-ДА-МАРЬЯ

Исторический роман

320 стр., изд-во "Вызов", Вашингтон

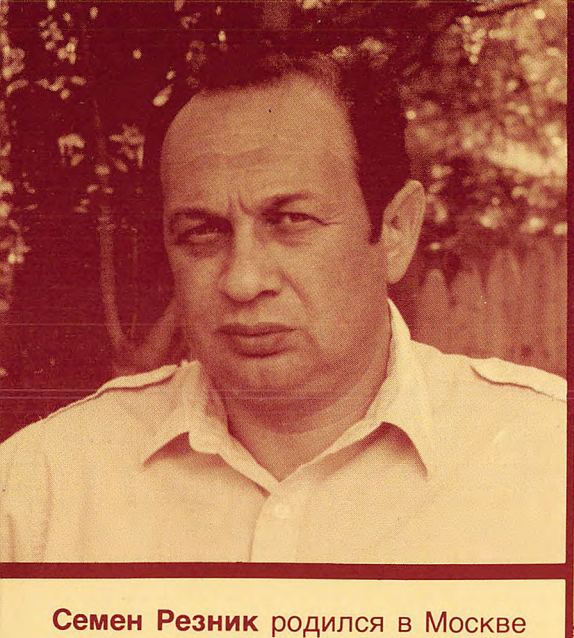
Когда Марья Терентьева тайно отреклась от христианского Бога и голая прошла через жидовский огонь, ее выдали замуж за раввина Хаима Хрипуна. Супруги понаслаждались любовью и отправились на охоту. Они отловили белокурого мальчика Федора Иванова четырех лет и вместе с толпою евреев качали его в бочке, утыканной изнутри длинными гвоздями, а кровь собирали в серебряную чашу.

С описания этих страшных, хотя и никогда не происходивших, событий начинается роман "ХАИМ-ДА-МАРЬЯ", в котором рассказывается об одном из самых грандиозных кровавых наветов на евреев. В основу положены материалы забытого "Велижского дела", по которому более сорока человек подвергалось пыткам и истязаниям девять лет. Действие происходит в пушкинскую эпоху, но многое в романе напоминает гонения на евреев в современной России.

Из рецензии: "Семен Резник владеет материалом как профессиональный историк. От него не ускользает, кажется, ни одна архивная мелочь, способная воссоздать события и, главное, характеры людей стопятидесятилетней давности. Дальше историк уступает место писателю, точнее, плодотворно сосуществует с ним. Неизбежный и необходимый в историческом романе домысел (вспомним Ю. Н. Тынянова!) дает автору творческую свободу, которой он пользуется с умением и тактом". *(Эдуард Капитайкин. "Новое русское слово").*

Цена 12,50 плюс 1,00 за пересылку.
Обращаться по адресу:

CHALLENGE Publication, P.O. Box 381, Arlington, VA 22210.



Семен Резник родился в Москве в 1938 году. Печатается с 1960 года. До эмиграции (1982) был членом Союза писателей. «Кровавая карусель» — десятая книга автора

В книге две повести об одном и том же историческом событии. В центре первой повести образ писателя и издателя Павла Крушевана — главного идейного вдохновителя Кишиневского погрома 1903 года. В центре второй — писатель-демократ Владимир Короленко. Это позволяет автору показать одно и то же событие с противоположных точек зрения. Кишиневский погром рассматривается как предзнаменование грозных лет, которые ввергли Россию в пучину бедствий и привели к замене тирании царизма еще более жестокой тиранией.